



Джакомо Казанова



ИСТОРИЯ МОЕЙ
ГРЕШНОЙ ЖИЗНИ

Джованни Джакомо Казанова

История моей грешной жизни

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134554

История моей грешной жизни : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Харьков; 2011

ISBN 978-966-14-2334-2

Аннотация

О его любовных победах ходят легенды. Ему приписывают связи с тысячей женщин: с аристократками и проститутками, с монахинями и девственницами, с собственной дочерью, в конце концов... Вы услышите о его похождениях из первых уст, но учтите: в своих мемуарах Казанова, развенчивая мифы о себе, создает новые!

Содержание

Записки великого соблазнителя: литература и жизнь	6
Казанова	17
1744–1745. Корфу – Константинополь[8]	18
1750. Париж	55
Глава VII[59]	55
Глава VIII	63
Глава IX	75
Глава X	89
Глава XI	102
1754. Венеция[133]	114
Глава V	114
Конец ознакомительного фрагмента.	117



Джованни Джакомо Казанова
История моей грешной жизни



Записки великого соблазнителя: литература и жизнь

Прославленный венецианский авантюрист, «гражданин мира», как он себя аттестовал, Джакомо Джироламо Казанова (1725–1798), чье имя сделалось нарицательным, был не только одним из интереснейших людей своей эпохи, но и ее символом, ее отражением. Перед современниками и потомками, его читателями, он представал как чело век воистину разносторонний, энциклопедически образованный: поэт, прозаик, драматург, переводчик, филолог, химик, математик, историк, финансист, юрист, дипломат, музыкант. А еще картежник, распутник, дуэлянт, тайный агент, розенкрейцер, алхимик, проникший в тай ну философского камня, умеющий изготавливать золото, врачевать, предсказывать будущее, советоваться с духами стихий. Но – что истинно в мифе, который он творил о самом себе?

Мемуары Казановы были опубликованы в начале XIX века, когда литература романтизма стала беспрестанно обращаться к легенде о Дон Жуане. Вечный образ Соблазнителя появляется у Байрона и Пушкина, Гофмана и Мериме, Хейберга и Мюссе, Ленау и Дюма. Именно в этой традиции и были восприняты записки Казановы, многие годы считавшиеся верхом неприличия. Их запрещали печатать, прятали от читателей.

Для подобной трактовки были даже чисто биографические основания – Казанова живо интересовался своим литературным предшественником, помогал другу-авантюристу Да Понте писать для Моцарта либретто оперы «Дон Жуан» (1787). Но «донжуанский список» Казановы может поразить воображение только очень примерного семьянина: 122 женщины за тридцать девять лет. Конечно, подобные списки у Стендаля и у Пушкина покороче, и в знаменитых романах тех лет, к которым пристало клеймо «эротические» (как, на пример, к увлекательнейшему «Фобласу» Луве де Кувре, 1787–1790), героинь поменьше¹, но так ли это много – три любовных приключения в год?

Личность Казановы оказалась скрыта под множеством масок. Одни он надевал сам – уроженец Венеции, где карнавал длится полгода, потомственный комедиант, лицедей в жизни. Другой маскарадный костюм надели на него эпоха, литературная традиция, вписавшая мемуары в свой контекст. Причем традиции (та, в которой создавались записки, и та, в которой они воспринимались) были прямо противоположными – то, что для XVIII века казалось нормой, в XIX столетии сделалось исключением.

Главное богатство авантюриста – его репутация, и Казанова всю жизнь тщательно поддерживал ее. Свои приключения он немедленно обращал в увлекательные истории, которыми занимал общество («Я провел две недели, разъезжая по обедам и ужинам, где все желали в подробностях послушать мой рассказ о дуэли»). К своим устным «новеллам» он относился как к произведениям искусства, даже ради всесильного герцога де Шуазеля не пожелал сократить двухчасовое повествование о побеге из тюрьмы Пьомби. Эти рассказы, частично им записанные, опубликованные, естественно переросли в мемуары, во многом сохранившие интонацию живой устной речи, представления в лицах, разыгрываемого перед слушателем. Создавал Казанова «Историю моей жизни» на склоне лет (1789–1798), когда о нем уже мало кто помнил, когда его друг принц де Линь представлял его как брата известного художника-баталиста. Казанове была нестерпима мысль, что потомки не узнают о нем, ведь он так стремился заставить о себе говорить, прославиться. Создав воспоминания, он выиграл поединок с Вечностью, приближение которой он почти физически ощущал («Моя

¹ Хотя вот в «Любовных письмах шевалье де***» Бастида (1752) рассказывалось о 144 победах. Список любовных удач – неперемный атрибут светского щеголя, его составляли с большой тщательностью, заучивали наизусть; блестящий «послужной список» обеспечивал новые победы.

соседка, вечность, узнает, что, публикуя этот скромный труд, я имел честь находиться на вашей службе», – писал он, посвящая свое последнее сочинение графу Вальдштейну). Человек-легенда возник именно тогда, когда мемуары были напечатаны.

Но, воссоздавая наново свою жизнь, перенеся ее на бумагу, Казанова перешел в пространство культуры, где действуют уже иные, художественные законы. Каждая эпоха создает свои собственные модели поведения, которые мы можем восстановить по мемуарам и романам. В своем бытовом поведении человек невольно, а чаще сознательно ориентируется на известные ему образцы (так, французские политические деятели XVII–XVIII вв. старательно подражали героям Плутарха, особенно во времена общественных потрясений: Фронды, Революции, наполеоновской империи; эта традиция дожила до Парижской коммуны). Более того, когда гибнет старое общество (в 1789 г., когда Казанова приступил к мемуарам, пала французская монархия, в 1795 г. после третьего раздела перестала существовать Польша, а в 1798-м, в год его смерти, исчезла с политической карты Венецианская республика, завоеванная войсками Наполеона), именно литература сохраняет память о поведенческих нормах, предлагает их читателю.

Джакомо Казанова принадлежал к двум культурам – итальянской и французской, для вхождения в которую он потратил большую часть жизни. Свои первые литературные творения Казанова писал на родном языке, но в конце жизни полностью перешел на французский (хотя продолжал грешить итальянизмами). В ту пору это был поистине интернациональный язык, на нем говорили во всех странах Европы, а Казанова хотел, чтобы его читали и понимали везде. «История моей жизни» стала явлением французской культуры. Именно в этой перспективе, как нам кажется, наиболее плодотворно рассматривать воспоминания Казановы, хотя, разумеется, и в Италии была сильная мемуарная традиция. Достаточно вспомнить «Жизнь Бенвенуто Челлини» (1558–1566), великого художника и искателя приключений, бежавшего из тюрьмы, немало лет проведенного во Франции, как и наш герой.

Мемуары Казановы, вызвавшие поначалу и у читателей, и у исследователей сомнения в их достоверности (библиофил Поль Лакруа даже считал их автором Стендаля, действительно высоко ценившего за писки венецианца), в общем, весьма правдивы. Для многих эпизодов нашли документальное подтверждение уже в XX веке. Разумеется, Казанова старается подать себя в наиболее выгодном свете, умалчивает о том, что порочит его, но во многих случаях он нарушает хронологию, переставляет местами события, объединяет однотипные (например, две поездки на Восток превращает в одну), следуя законам повествования, требованиям композиции. Логика сюжета, действий того персонажа, которого он рисует на страницах мемуаров, может подчинить себе правду жизни. Так, когда благодетельница и жертва Казановы маркиза д'Юрфе порвала отношения с ним, он сообщает читателю, что она умерла – для него она перестала существовать.

В «Истории моей жизни» отчетливо видны несколько сюжетных традиций: авантюрного и плутовского романа, психологической по весте, идущих из XVII века, романа-карьеры и романа-«списка» любовных побед, сложившихся во Франции в эпоху Просвещения, и мемуаристики. Именно на их фоне и проявляется истинное своеобразие записок Казановы.

Во Франции, как это часто бывает, интерес к мемуарам пробуждался после периодов сильных общественных потрясений: религиозных войн (1562–1594), Фронды (1648–1653). В прозе тогда доминировали многотомные барочные романы, где в возвышенном стиле воспевались героические и галантные приключения многовековой давности – как в «Артамене, или Великом Кире» (1649–1653) Мадлены де Сюдери. Мемуары, описывавшие недавнее прошлое, при вносили в литературу подлинные и жестокие события, кровавые драмы, любовные интриги, воинские подвиги, примеры высокого благо родства и расчетливой подлости. Именно под воздействием мемуаров стали возникать в конце XVII века психологиче-

ские повести («Принцесса Клевская» г-жи де Лафайет, 1678), вытеснившие барочный эпос, подготовившие почву для «правдоподобного» романа XVIII века.

Воспоминания писали (или, реже, за них сочиняли секретари) королевы (Маргарита Валуа, Генриетта Английская), министры (Сюлли, Ришелье, Мазарини), вельможи, придворные дамы, военачальники, судейские, прелаты (герцоги Буйонский, Ангулемский, Гиз, де Роган, мадемуазель де Монпансье, маршал Бассомпьер, первый президент парламента Матье Моле, кардинал де Рец и др.), писатели-аристократы (Агриппа д'Обинье, Франсуа де Ларошфуко). Популярность мемуаров была столь велика, что на рубеже XVII–XVIII веков началось взаимопроникновение «художественной» и «документальной» прозы. Появились поддельные воспоминания подлинных исторических лиц. Их во множестве изготовлял одаренный литератор Гаэтан Куртиль де Сандра, самые известные из них – «Мемуары г-на д'Артаньяна» (1700), где мушкетеру приносят удачу воинские подвиги, шпионство, плутни, политические интриги и, главное, успехи у женщин.

Одной из самых распространенных жанровых форм стали «романы-мемуары»: из трех с половиной тысяч романов, изданных во Франции в XVIII веке, 243 носят название мемуаров. Чтобы доказать «правдивость» своих произведений, писатели подробно рассказывают, где, при каких обстоятельствах к ним попала «подлинная» рукопись. Возникли устойчивые композиционные приемы: повествование ведется одновременно и от лица молодого героя, и пожилого рассказчика, оценивающего свои юношеские поступки. Подобная двойная перспектива делает текст открытым для все новых сюжетных ходов, вставных историй; predetermined заглавием развязка (раз это мемуары, значит, герой после любых приключений остался жив², добился положения в обществе и взялся за перо) вынуждает автора оттягивать неинтересный ему финал, и потому романы, как и подлинные мемуары, часто оказываются незавершенными, бросаются на полуслове.

Французским прозаикам XVIII века развязки вообще плохо давались: роман, открытый, подражающий жизни жанр, не терпел искусственных ограничений.

Но взаимодействие романа и мемуаров шло не только в эстетической области, не ограничивалось открытием новых тем, сюжетов, композиционных приемов, ранее недоступных сфер жизни и быта, казавшихся «внехудожественными». Выработывалась новая концепция человека, рушился идеал героического дворянского поведения. В XVII веке воспоминания по большей части писали не победители, а побежденные в гражданских войнах, они создавали их в тюрьмах (Бассомпьер), в изгнании (д'Обинье), в опале (Ларошфуко), в монастыре, отъединившись от мира (Рец). Воспроизводя заново свою жизнь, мемуаристы мечтали взять реванш, победить пером своих врагов, раз оружие оказалось бессильным, а борьба бессильной.

За годы преданной службы поэт Агриппа д'Обинье (1550–1630), сподвижник Генриха IV, «козел отпущения», как он сам себя называл, был двенадцать раз ранен в живот, четырежды приговорен к смерти, вынужден покинуть родину, кончить дни на чужбине. Политические противники и антиподы: Ф. де Ларошфуко (1613–1680), автор знаменитых «Максим» (1664), защитник старых дворянских идеалов, благородный воин, и изощренный политик, последователь Макиавелли кардинал де Рец (1613–1679), искусно манипулировавший общественным мнением, простонародьем, – оба проиграли в схватке с кардиналом Мазарини.

Дворянский индивидуализм, толкавший страну на путь войн и междоусобиц, уступал государственному абсолютизму, объединявшему и подавлявшему людей. Неумевшие при-

² Одно из немногочисленных курьезных исключений – перевод-пересказ мемуаров Казановы на русском языке под названием «100 приключений» (1901), сделанный К. Введенским, где Казанова гибнет в середине жизни – якобы тонет корабль, на котором он возвращается из Англии во Францию.

способиться оказывались ненужными. В новую эпоху дворянин должен был не сражаться, отстаивая высокие цели, а угождать, нравиться – королю, министрам, их фавориткам; служебная карьера строилась по законам обольщения. Аристократия утратила свой бунтарский запал и начала сходиться с политической сцены, уступая место третьему сословию.

И в XVIII веке появляются воспоминания разночинцев. В предыдущем столетии это было почти невозможно³. Напомним, что мемуары как жанр изначально были рассказом о важных государственных событиях, и потому их автор, бравший на себя роль историка, мог писать о себе в третьем лице (как д'Обинье), соединять обе формы (как Ларошфуко). И лишь когда воспоминания приобретали отчетливо выраженную личностную окраску, сближались с романом, как, например, мемуары Реца, верх брало «я». Но даже в этом случае любовные события оказывались менее значимы, чем политика и война. Интерес к сфере частной жизни в «художественной» и «документальной» прозе усиливался по мере того, как отдельный человек выключался из сферы общественной, политической жизни. Знаменитая фраза Людовика XIV «Государство – это я» значила, что судьбы страны вершит он один, остальным делать нечего.

«Низкая» жизнь мещанина по нормам классицистической эстетики могла описываться только «отстраненно», от третьего лица. Жанр плутовского романа требовал рассказа от первого лица, и во Франции XVII века их героями (в отличие от испанских пикаро) становились обедневшие дворяне (как во «Франсione» Ш. Сореля, 1622). Только позднее, в романах эпохи Просвещения, простолюдин сумел завоевать право голоса: сперва в текстах стали появляться их устные вставные рассказы, а уже затем возникли романы-мемуары мещан, сумевших выбиться в люди. Тем самым литературный герой оказался равен по положению и читателю (который себя с ним невольно отождествлял), и автору (ведь он сам творит, воссоздает свою жизнь). Первым образцом романов такого типа был «Удачливый крестьянин» Мариво (1735), вызвавший многочисленные подражания. Одним из главных средств подняться вверх по социальной лестнице (и для мужчин, и для женщин) были любовные победы, с той только разницей, что крестьянка, выйдя замуж за графа, становилась графиней, а вот крестьянин, женившись на аристократке, увы, только низводил жену до своего уровня (как, например, в «Удачливом солдате» Е. Мовийона, 1753). Поэтому простолюдин должен был разбогатеть, пустить в ход свои финансовые, литературные или иные таланты, как это сделали знаменитые разночинцы XVIII столетия – Вольтер, Руссо, Бомарше.

Разумеется, их мемуарное наследие неравнозначно. Руссо оставил «Исповедь» (1764–1770, опублик. 1781–1788), совершившую переворот в европейской психологической и автобиографической прозе⁴. Вольтер написал свою официальную биографию (Исторический комментарий к творениям автора «Генриады», 1777) и небольшие, но яркие мемуары, рассказывающие о его взаимоотношениях с королем прусским Фридрихом II («Мемуары для жизнеописания г-на де Вольтера», 1758–1760, опублик. 1784). Бомарше же предпочитал жанр «мемуара» – юридического документа, где излагаются обстоятельства судебного дела, но писал подобные сочинения столь часто, подробно и живо, что превратил их в рассказы о самых ярких моментах своей судьбы (четыре мемуара против судьи Гезмана, 1773–1774, мемуары против Корнмана и Бергаса, 1786–1789, против своего обвинителя Лекуатра, 1793). В характерах всех троих, немало не схожих авторов, есть одна общая и немаловажная черта: авантюризм, неукротимое желание пробиться наверх, присущее разночинцам. Как объявил

³ Правда, в конце своих «Занимательных историй» (1657–1659), сборника анекдотов об известных людях того времени, сын банкира литератор Талеман де Рео посмел включить рассказ о «любовных приключениях автора», отнюдь не возвышенных, а грубовато плотских, но опубликована рукопись была только в начале XIX века.

⁴ Казанова Руссо недолюбливал и к «Исповеди» отнесся критически, хотя в какой-то степени подражал ей: «Я наделал в жизни немало глупостей и исповедуюсь в них столь же искренне, как Руссо, но с меньшим самолюбованием, чем этот великий человек».

адвокат Сийес в январе 1789 года: «Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор в политической жизни? Ничем. Чего оно требует? Стать чем-нибудь».

Жизнь великих французских просветителей, заботившихся о всеобщем счастье, была отнюдь не благодатной. Их арестовывали, сажали в тюрьму (Дидро, Вольтер, Бомарше), изгоняли на чужбину, сжигали их книги рукой палача (Руссо, Вольтер). Правда, и сами они были не идеальными людьми. Великодушие в них сочеталось с эгоизмом, смелость и независимость оборачивались бесцеремонностью. Обаятельнейшие, интереснейшие собеседники были весьма неуживчивыми людьми. Приключения юности, описанные Руссо, напоминают плутовской роман (бродяга, слуга, воришка, доносчик). И Вольтер, и Бомарше, считавший себя его учеником, были талантливыми финансистами и сколотили огромные состояния с помощью банковских и торговых махинаций (нередко откровенно мошеннических). Они выполняли негласные и даже щекотливые дипломатические поручения, неутомимые путешественники были, по сути, тайными агентами французского короля. Оба писателя легко играли роли царедворцев, льстивых придворных, умели войти в милость к государям (их жаловали чинами, дворянством), но они сами навлекали на себя опалу свободолюбивыми выходками.

Именно такими были и самые знаменитые авантюристы XVIII века, которых во множестве притягивала Франция, – Казанова, Калиостро, Сен-Жермен, не говоря уже о многих других, также появляющихся на страницах «Истории моей жизни»: шулер и бретер маркиз Даррагон, «вечный должник» барон Сент-Элен, учитель танцев Кампиони, «чернокнижник» Пассано, граф Медини и даже некий Карл Иванов, выдававший себя за сына герцога Курляндского. Успех искателей приключений отражал главное противоречие эпохи Просвещения, слепо верившей в силу разума и тянувшейся к иррациональному. Философы и политики желали исправить общество, сделать людей насильно счастливыми и ввергли их в пучину террора. И чем ближе надвигалась революция, чем сильнее было ощущение конца времен («После меня хоть потоп» – как пророчески говаривал Людовик XV), тем больше появлялось магов, алхимиков, астрологов, прорицателей, чародеев, целителей (несомненными экстрасенсорными способностями обладали Сен-Жермен и Калиостро, да и великий Франц Месмер, открыватель «животного магнетизма», пользовался огромной популярностью во Франции конца века, где возникли целые секты его последователей).

Конечно, Казанова не отставал от других. Он излечил от ломоты Латур д'Оверня, избавил от прыщей герцогиню Шартрскую, посоветовав соблюдать щадящий «магический» режим, продал принцу Курляндскому рецепт изготовления золота, завлекал алхимическими опытами принцессу Ангальт-Цербстскую, мать Екатерины II (разумеется, к магическим операциям своего конкурента Сен-Жермена он относился более чем скептически). Венецианец предсказывал будущее, блестяще владея криптографией, мгновенно составлял зашифрованные послания своему Духу и сам отвечал за него. Завоевывая доверие людей, он прибегал и к простым трюкам (отыскивал спрятанный им же кошелек, чертил пентаграмму, которую украдкой подсмотрел в книге), и к сложным психологическим ходам. Так, предсказав юной красавице м-ль Роман, что она станет фавориткой короля, а ее сыну суждено осчастливить Францию, он внушил ей мысль отправиться из Гренобля в Париж, где на нее обратил внимание любвеобильный Людовик XV⁵. Как писал Казанова, «если предсказание не сбывается, то грош ему цена, но я отсылаю снисходительного моего читателя ко всеобщей истории: там обнаружит он множество событий, какие, не будь они предсказаны, никогда бы и не совершились».

⁵ Если в XVI веке Агриппе д'Обинье роль сводника при Генрихе IV казалась постыдной, то в XVII веке и Ларошфуко и Рец использовали женщин для достижения своих политических целей.

Можно ли считать всех этих авантюристов обыкновенными плутами и обманщиками? Искатели приключений давали обществу то, чего оно требовало. В них концентрировалась энергия надвигающихся социальных катаклизмов, они служили закваской, бродилом грядущих перемен. Авантюристы, во множестве колесившие по Европе, разносили по городам и странам новые слова, моды, художественные вкусы, политические идеи. Они предвосхищали те перемещения народов, перекройку карты Европы, которую принесут революция, наполеоновские войны. Они проникали во все слои общества, общались с крестьянами и королями, философами и шлюхами. Они рушили социальные и государственные границы, отменяли старые нравственные нормы, совершали своего рода «сексуальную революцию». Как писал Стефан Цвейг, эпоха уничтожила сама себя, создав наиболее законченный тип, самого совершенного гения, поистине демонического авантюриста – Наполеона.

Французская исследовательница Сюзанна Рот, рассмотрев судьбы авантюристов XVIII века как единый текст, выделила основные качества, характеризующие «образцового» искателя приключений: непредсказуемость, импульсивность, сосредоточенность на сегодняшнем дне, вера в удачу, доходящая до суеверия, богатая фантазия, прожектерство, смелость, решительность, даже жестокость, гедонизм, эгоцентричность и общительность, любовь к внешним эффектам, обманам, мифотворчеству, к игре, умение плести интриги. Разумеется, всеми этими качествами в полной мере обладал Казанова – привилегированный объект ее анализа, и все они важны. Но, думается, главным было другое – оставаясь самим собой, быть зеркалом своего собеседника, среды, в которую он попадал. И в этом – тайна его успеха.

Ярче всего импровизационный дар Казановы проявился в беседе с Фридрихом Великим, когда он попеременно обращался в ценителя парков, инженера-гидравлика, военного специалиста, знатока налогообложения. Но так всегда и везде, и нередко чем меньше знает он, тем вернее успех. В Митаве он, сам себе удивляясь, дает полезные советы по организации рудного дела, в Париже оказывается великим финансистом. В большинстве случаев достаточно просто молчать – собеседник сам все расскажет и объяснит. Так, неплохой химик Казанова «учил» таинствам алхимии их знатока маркизу д'Юрфе, так вел ученые беседы с великим швейцарским биологом и медиком А. Галлером, черпая необходимые для ответов сведения из самих вопросов. Для него дело принципа – бить соперника его же оружием, и потому столь гордится он победой над польским вельможей Браницким, вынудившим его драться не на шпагах (как он привык), а на пистолетах. Но главное оружие Казановы – слово. Он с юности умеет расположить к себе слушателя, заставить сочувствовать своим невзгодам (в этом, как он сам подчеркивал, одно из слагаемых успеха). И в Турции, как он сам уверяет, Казанова не остался потому, что не желал учить варварский язык. «Мне нелегко было, одолев тщеславие, лишиться репутации человека красноречивого, которую я снискал всюду, где побывал». Он владеет пером, хотя до поры до времени пишет только ходатайства другим (неизменно удачные) да литературные поделки. Человек начитанный, прекрасно знает античную, итальянскую, французскую литературу, разбирается в театре, живописи. Столь старательно изучал он «книгу жизни», столько профессий сменил (учился в Падуанском университете, в 17 лет защитил диссертацию по праву, был и аббатом и солдатом), столько путешествовал, что, казалось, ничто не могло смутить его. И потому такой болезненной для его самолюбия оказалась встреча с Вольтером. Казанова попытался посостязаться с «атлетом духа» в знании литературы, остроумии, превратил их диалог в обмен разящими репликами и проиграл. Великий человек дал понять Казанове, что он пустое место, что за оболочкой слов нет реальных дел, что он – жалкая пародия на него самого, и этого авантюрист не мог простить философу. Поклонение сменилось неприязнью, он обрушился на Вольтера с язвительными и, как сам признавался, не слишком справедливыми памфлетами.

Но была, конечно, область, в которой темпераментный венецианец превосходил не только слабосильных Вольтера и Руссо, но и многих других, – эротическая. Т. Бачелис очень

тонко подметила, анализируя фильм «Казанова» (1976) Федерико Феллини, что итальянский режиссер показывает богато одаренного человека, который тщетно пытается применить свои таланты, но среда требует от него только сексуальную энергию. Общество действительно диктовало Казанове определенные нормы поведения. Францию, законодательницу моды, непререкаемый авторитет в вопросах любви, Людовик XV превратил в огромный гарем, из всех краев и даже из других стран прибывали красотки, родители привозили дочек в Версаль – вдруг король обратит внимание во время прогулки. А юная О'Морфи попала из рук Казановы в постель короля благодаря написанному с нее портрету, понравившемуся монарху (сказочный сюжет о любви по портрету превратился во вполне современную историю о выборе девицы по изображению). «Его Величество поселил ее на квартире в Оленьем парке, где положительно держал свой сераль».

Конечно, на этом фоне аппетиты Казановы кажутся весьма скромными. Почему же его мемуары Стефан Цвейг назвал «эротической Илиадой»? Почему столь непристойными казались они буржуазно-чопорному XIX веку?

Потому что это не традиционные мемуары государственного мужа или писателя, где любовные увлечения – только фон. Как в романе, любовь – один из высших смыслов существования Казановы, она и делает его великим. Но здесь нет и не может быть финальной свадьбы, вознаграждения добродетели и развенчания порока. Естественное чувство свободно и бесконечно, в нем самом его оправдание. «Я любил женщин до безумия, но всегда предпочитал им свободу».

Кроме того, изменились представления о литературной норме: романы Андре де Нерсия или маркиза де Сада, созданные на исходе эпохи Просвещения, гораздо неприличнее, не говоря уже об откровенно порнографических книгах типа «Картезианского привратника» (1745), изъятых у Казановы инквизиторами при аресте. Во французской литературе XVIII века, от Кребийона-сына до Лакло, была подробно разработана теория соблазнения, «наука страсти нежной» (главный постулат ее – улучшить подходящий «момент» и решительно им воспользоваться, признавать женскую добродетель на словах, а не на деле). Разумеется, Казанове она была хорошо знакома, и он охотно завязывает с женщинами психологическую игру, смешит, интригует, смущает, заманивает, удивляет (таковы, скажем, его приключения с г-жой Ф. на Корфу, К. К. в Венеции, м-ль де ла М-р в Париже). «Уговаривая девицу, я уговорил себя, случай следовал мудрым правилам шалопайства», – пишет он об одержанной благодаря импровизации победе. Как в комедиях того времени, он может перерядиться слугой, чтобы проникнуть к даме. Но чаще все происходит гораздо проще, как с какой-нибудь Мими Кенсон: «Мне сделалось любопытно, проснется она или нет, я сам разделся, улегся – а остальное понятно без слов». В ситуациях, когда Печорин, почитавший себя великим сердцеедом, украдкой пожимает даме ручку, Казанова лезет под юбку.

Знаменитый авантюрист был в каком-то смысле искренней героев французской прозы XVIII века – бесчисленных «удачливых» крестьян и крестьянок, щеголей, создававших себе репутацию любовными успехами. Он гораздо скромнее либертенов Сада, он отказывается участвовать в больших коллективных оргиях. Для Казановы не существует трагической антитезы «высокая» – «продажная» любовь, погубившей счастье кавалера де Грийе и Манон Леско. Возвышенное чувство и плотская страсть, искренние порывы и денежные расчеты связаны у него воедино. Ненасытная жажда приключений влекла Казанову к новым победам, и в этом его записки близки к «Мемуарам» маркиза д'Аржанса (1735), который начал свою литературную деятельность с того, чем другие ее заканчивают, описав в романическом духе свои юношеские похождения (как и наш герой, он побывал адвокатом, офицером, диплома-

том, наделал долгов, сорвал банк, путешествовал по Франции, Италии, Испании, ездил в Африку, Константинополь, соблазнил полтора десятка дам и девиц)⁶.

Любовь была для Казановы не только жизненной потребностью, но и профессией. Он часто употребляет традиционные литературные метафоры, воспевая эротические битвы, но нигде, кроме его мемуаров, не встретишь описания любви как тяжелого физического труда, как в сцене «перерождения» маркизы д'Юрфе. Казанова покупал понравившихся ему девиц (более всего ему по душе были молоденькие худые брюнетки), учил их любовной науке, светскому обхождению, а потом с большой выгодой для себя переуступал другим – финансистам, вельможам, королю. Не стоит принимать за чистую монету его уверения в бескорыстии, в том, что он только и делал, что составлял счастье бедных девушек, – это был для него постоянный источник доходов.

Но в середине жизни наступает пресыщение, подкрадывается утомление. Все чаще начинают подстерегать неудачи. После того как в Лондоне молоденькая куртизанка Шарпийон изводит его, беспрестанно вытягивая деньги и отказывая в ласках, великий соблазнитель надламывается. «В тот роковой день в начале сентября 1763 я начал умирать и перестал жить. Мне было тридцать восемь лет». Все менее громкими победами довольствуется он, публичные девки, трактирные служанки, мещанки, крестьянки, чью девственность можно купить за горсть цехинов, – вот его удел. А в пятьдесят лет он из экономии ходит уже к женщинам немолодым и непривлекательным, живет как с женой со скромной белошвейкой. Чем ближе к концу мемуаров, тем чаще он хвалит себя за умеренность, разумный образ жизни («Жизнь я вел самую примерную, ни интрижек, ни карт»), все больше говорит о болезнях.

Казанова делается расчетливым – и перестает быть авантюристом. Его покидает вера в счастливую звезду, та, что вела его по жизни. Игрок по натуре и профессии, не считавший зазорным «поправить фортуна», он уже боится сесть за карты, боится проиграть. Казанова скитается по странам, которые ему вовсе не по душе, все же рассчитывая найти себе там покойную службу до конца дней. После того как он побоялся слишком понравиться Фридриху II и не сумел войти в доверие к Екатерине II, он стал все ближе и ближе подбираться к родной Венеции. И чем необратимей уходила его сексуальная сила, тем интенсивней становилась интеллектуальная деятельность. Все чаще возникают на страницах мемуаров литературные споры, книги, библиотеки («Не имея довольно денег, дабы помериться силами с игроками или доставить себе приятное знакомство с актеркой из французского или итальянского театра, я воспылил интересом к библиотеке монсеньора Залуского») – прибежище последних лет. Казанова сам начинает писать, причем отдается этому занятию со страстью, самозабвением, работает без усталости. Опровержение столетней давности «Истории Венецианского государства», созданной французским дипломатом Амело де ла Уссе (1677), помогает ему заслужить прощение у государственных инквизиторов и возвратиться на родину. И тут воспоминания обрываются, хотя Казанова постоянно обращался к ним, думал, не довести ли их до конца. «История моей жизни до 1797 г.» – так значилось в рукописи. Но повествовать о том, как перешел в лагерь бывших своих врагов, стал тайным осведомителем инквизиции, было невозможно – искатель приключений, чей образ он создавал в мемуарах, умер. «Что до мемуаров, – писал Казанова своему другу Ж. Ф. Опицу в 1794 году, – то боюсь, что брошу их, как они есть, – перевалив за рубеж пятидесяти лет, я могу рассказывать лишь о печальном, отчего сам печалюсь...»

Большую часть жизни Казанова провел в путешествиях. Что руководило им в его постоянных блужданиях? Из мемуаров это понять трудно. Дальние прожекты Казановы зачастую безосновательны, строятся на песке. Великого авантюриста, как он уверяет, могла

⁶ В старости, встретившись с Казановой, д'Аржанс усиленно отговаривал венецианца писать воспоминания – уж больно неблагоприятное занятие.

заставить передумать любая случайная встреча, хорошенькое личико, незначущее событие или слово, которое он толковал как господне знамение. «Следуй Богу!» – его девиз. Сюжет «Истории моей жизни» держится не на причинных, а, как в устной речи, на хронологических связях. Источником действия служат внутренняя энергия самого Казановы (как он постоянно подчеркивал, бездеятельность буквально убивала его), борьба с внешним миром, чьи законы он постоянно нарушает, – за двенадцать лет, с 1759 по 1771-й, его одиннадцать раз высылали из девяти европейских столиц.

Но были и другие, скрытые причины его поездок. Казанова не только исполнял роль дипломатического и финансового агента французского короля (о своих миссиях он повествует достаточно туманно), он был масоном, как очень многие в этом веке. Только во Франции их было 20 тысяч: Прево, Вольтер, Дюкло, Буше, Гельвеций, Лакло, Кондорсе, Лафайет, Сийес, Наполеон. Напомним, что и Карамзин ездил по Европе по поручению масонов, и в «Письмах русского путешественника» (1791–1795) он намеренно искажал свой маршрут. Тайные связи помогли Казанове чувствовать себя на равных с аристократами, обеспечивали протекцию, выручали в трудные минуты. Масонами были и заботившиеся о нем в старости друзья: принц Шарль де Линь, его племянник граф Вальдштейн, давший Казанове место библиотекаря в своем замке Дукс (Духцов) в Богемии, Ж. Ф. Опиц, граф Ламберг.

Своеобразие мемуаров Казановы заключается в том, что они, при всей вписанности в культурную традицию, отнюдь не стремятся стать романом, напротив, через литературные приемы и эпизоды пробивается сама жизнь такой, какой ее мало кто изображал. И главный интерес у Казановы-писателя вызывает он сам как действующее лицо. Через всю книгу проходит тема театра – на сцене и в жизни все беспрестанно играют, импровизируют роли (как в итальянской комедии). «Тогда завершился первый акт моей жизни, – пишет после лондонской истории с Шарпийон. – Второй – после отъезда моего из Венеции в год 1783. Третий, видать, – здесь, где я забавляюсь писанием сих мемуаров. Тут комедия окончится, и будет в ней три акта. Коль ее освищут, то надеюсь, что уже ни от кого о том не услышу». Казанова оказывается режиссером, актером и зрителем в одном лице. Как в романах-мемуарах, пожилой повествователь комментирует действия молодого, дает пояснения читателю: об этом вы узнаете в своем месте, через десяток лет (по хронологии героя), об этом я расскажу в свой черед, через час или два (за это время пишет пять-шесть страниц – быстро!). И чем дальше, тем чаще из-за маски авантюриста выглядывает грустное лицо старика, коротающего дни на чужбине.

Глупая служанка губит его рукописи, подлец-эконом изводит мелочными нападка. Его охватывает черная тоска, от которой остается только постоянное писание – Казанова не столько составлял каталог графской библиотеки, сколько пополнял ее своими сочинениями. «Я описываю свою жизнь, чтобы развеселить себя, и мне это удастся, – извещал он графа Ламберга в феврале 1791 г. – Я пишу тринадцать часов в день, которые кажутся мне тринадцатую минутами». А позже прямо обращается к далеким потомкам в «Истории моей жизни»: «Читатель простит меня, узнав, что писание мемуаров было единственным средством, мною изобретенным, чтоб не сойти с ума, не умереть от горя и обид, что во множестве чинят мне подлецы, собравшиеся в замке графа Вальдштейна в Дуксе».

Причину старческой ранимости Казановы, его мелочной обидчивости, о которой все пишут, можно видеть в болезни – в третичной стадии сифилис калечит психику, делает человека маниакально подозрительным. Но, думается, главная причина в том, что великий авантюрист пережил свое время, подобно тому, как польский король Станислав-Август «пережил свою родину». Старый Казанова казался карикатурой на самого себя. «Он заговорил по-немецки, – рассказывал в «Мемуарах» (1827–1829) принц де Линь, – его не поняли, он разгневался – засмеялись. Он прочел свои французские стихи – засмеялись. Жестикуюлируя, стал декламировать итальянских поэтов – засмеялись. Войдя, церемонно раскланялся, как

обучил его шестьдесят лет тому назад знаменитый танцмейстер Марсель, – засмеялись. Он надел белый султан, шитый золотом жилет, черный бархатный камзол, шелковые чулки с подвязками, усыпанные стразами, – засмеялись. Канальи, кричал он им, все вы якобинцы!»

Последнее словцо мелькнуло не случайно – хуже оскорбления для Казановы не было. Он решительно не принял Великую французскую революцию. Казалось бы, авантюрист-разночинец, который мысленно представлял себе, как во главе восставшего народа свергает венецианских правителей, истребляет аристократов (когда его посадили в Пьомби), должен был обрадоваться, что люди его сословия пришли к власти. Но нет. Казанова всю жизнь завоевывал право считаться дворянином, не разрушить общество хотел он, а найти себе в нем подходящее место. С казнью Людовика XVI погибла принятая им шкала ценностей.

Свои мысли о возможности иного мироустройства он изложил в научно-фантастическом и сатирическом романе «Икозамерон, или История Эдуарда и Элизабет, прошедших восемьдесят один год у Мегамикров, коренных жителей Протокосмоса в центре Земли»⁷ (1788), продолжающем традиции Сирано де Бержерака и Свифта, отчасти утопистов. Его герои знакомятся со счастливым «естественным» существованием обитателей подземного рая (где все двуполы, ходят нагими, питаются грудным молоком), с техническими чудесами (снаряды с отравляющими веществами, «электрический огонь», производство драгоценных металлов и камней). Но жители Земли разрушают утопию, переустраивают чудный мир по своим законам, их многочисленное потомство завоевывает крохотные республики, устанавливает наследственную монархию.

Роман, на который Казанова возлагал большие надежды, считал главным своим детищем, оказался откровенно скучным – из-за литературности, вторичности невероятных приключений. «История моей жизни», описывающая реальные события, гораздо более оригинальна и необычна именно как художественное произведение.

Казанова-мемуарист последовательно выдерживает позицию частного лица, политики он касается лишь постольку поскольку: Семилетняя война разрушает систему международной торговли, и шелковая мануфактура, созданная венецианцем в Париже, терпит банкротство. Но мемуары пишутся во время французской революции, и действительность властно врывается в них. В повествование о любовных обманах и хитроумных мошенничествах вплетаются рассуждения о терроре (протестуя против него, Казанова в 1793 году написал гневное послание Робеспьеру на 120 страницах). Анализируя события середины века, он обращается к трагическому опыту конца столетия, как бы предсказывает историю (за четвертованием покушавшегося на короля Дамьена ему видится казнь Людовика XVI). Гедонистическое времяпрепровождение оборачивается пиром во время чумы. Казанова, убежденный традиционалист, считал, что нельзя насильно вести людей к их благу, а уж тем более железом и кровью. Преступно лишать их веры, даже предрассудков – лишь они даруют счастье (как он доказывал еще Вольтеру), а не трезвая философия, что разорила Францию, уничтожила значительную часть населения, сделала гильотину символом гражданских свобод. В новом Казанова видел только смерть старого и потому не мог принять поток неологизмов, хлынувших во французский язык в последние годы века («повреждение нравов начинается с повреждения языка»). Перед смертью он вступил в полемику с немецким ученым Л. Снетлаге, составившим словарь «революционного языка» (послание «Леонарду Снетлаге», 1797) – и слова, и стоявшие за ними реалии (террор, гильотина, бюрократия, общественный обвинитель, анархист, инкриминировать, отправить в карцер и т. д.) символизировали для него гибель культуры. Даже в технические изобретения («сигнальный телеграф», возможность управлять аэростатом) автор утопического романа отказывался верить.

⁷ Сюжет путешествия к центру Земли через сто лет использовал Жюль Верн.

На страницах «Истории моей жизни» Казанова предстает и как активный деятель, одолевая любые препятствия (в тюрьме он, подобно Робинзону, обживает мир камеры, создает из ничего орудия спасения), и как тонкий, умный наблюдатель. Он проницательно рисует портреты великих людей – монархов, политиков, писателей, философов, актеров, исследует национальный характер различных народов. За мелочами быта – а глаз у него острый – Казанова видит черты государственного устройства (таково его блестящее рассуждение о палке, на которой держится вся жизнь в России). Он может ошибаться, врать, быть поверхностным, – и даже в этом случае от мемуаров исходит обаяние искренности, огромной человеческой одаренности. Соблазнитель влюбляет в себя читателя.

Именно это и обеспечило мемуарам Казановы огромный успех. Пусть французскому романтику Жюльо Жанену они не понравились, Стендаль, Гейне, Мюссе, Делакура, Сент-Бев были в восторге. Ф. М. Достоевский, опубликовавший в своем журнале «Время» (1861, № 1) историю побега из Пьемонта, в редакционном вступлении назвал Казанову одной из самых замечательных личностей своего века, высоко оценил его писательский дар, силу духа («Это рассказ о торжестве человеческой воли над препятствиями необоримыми»). О записках Казановы стали беседовать литературные персонажи (как в «Пиковой даме» Пушкина, 1833, или «Дядюшкином сне» Достоевского, 1859), а сам авантюрист стал героем повестей, романов, пьес: «Возвращение Казановы» Артура Шницлера (1918), «Приключение» и «Феникс» Марины Цветаевой (1919), «Роман о Казанове» Ричарда Олдингтона (1946), не говоря уже о многочисленных эссе (Стефана Цвейга, Роже Вайяна, Фелисьена Марсо) и бесконечных литературоведческих исследованиях. Семь фильмов запечатлели его судьбу (отметим снятый во Франции А. Волковым в 1927 году фильм «Казанова» с Иваном Мозжухиным в главной роли, развлекательную ленту Ж. Буайе по сценарию М. Ж. Соважона «Приключения Казановы», 1946, и уже упоминавшийся шедевр Феллини). Из реального человека прославленный авантюрист и любовник превратился в миф.

А. Строев

Казанова История моей жизни



1744–1745. Корфу – Константинополь⁸

Том II⁹

Глава IV

Смешная встреча в Орсаре. Путешествие на Корфу. В Константинополе. Бонваль. Возвращение на Корфу. Г-жа Ф. Принц-самозванец. Бегство с Корфу. Проказы на острове Казопо. Я сажусь под арест на Корфу. Скорое освобождение и торжество. Мой успех у г-жи Ф.

Глупая служанка много опасней, нежели скверная, и для хозяина обременительней, ибо скверную можно наказать, и поделом, а глупую нельзя: такую надобно прогнать, а впредь быть умнее. Моя извела на обертки три тетради, в которых подробнейшим образом описывалось все то, что я собираюсь изложить в главных чертах здесь. В оправдание она сказала, что бумага была испачканная и исписанная, даже с пометками, а потому она решила, что лучше употребить в хозяйстве ее, а не чистые и белые листы с моего стола. Когда б я хорошенько подумал, я бы не рассердился; но гнев первым делом как раз и лишает разум способности думать. Хорошо, что гневаюсь я весьма недолго – *irasci celerem tamen ut placabilis essem*¹⁰. Я зря потерял время, осыпая ее бранью, силы которой она не поняла, и со всей очевидностью доказывая, что она дура; она же не отвечала ни слова, и доводы мои пропали впустую. Я решился переписать снова – в дурном расположении духа, а стало быть, очень скверно, все, что в добром расположении написал, должно быть, довольно хорошо; но пусть читатель мой утешится: он, как в механике, потратив более силы, выиграет во времени¹¹.

Итак, сошедши в Орсаре в ожидании, пока погрузят балласт в недра нашего корабля, чья чрезмерная легкость мешала сохранять благоприятное для плавания равновесие, я заметил человека, который, остановившись, весьма внимательно и с приветливым видом меня разглядывал. Уверенный, что то не мог быть кредитор, я решил, что наружность моя привлекла его интерес, и, не найдя в том ничего дурного, пошел было прочь, как тут он приблизился ко мне.

- Осмелюсь ли спросить, мой капитан, впервые ли вы оказались в этом городе?
- Нет, сударь. Однажды мне уже случалось здесь бывать.
- Не в прошлом ли году?
- Именно так.
- Но тогда на вас не было военной формы?
- Опять вы правы; однако любопытство ваше, я полагаю, несколько нескромно.

⁸ Названия разделов были даны составителем этой книги для удобства читателя. Сохранены подзаголовки глав, сделанные Лафоргом.

⁹ Перевод И. Стаф.

¹⁰ Гневаться скорый, однако легко умиряться способный (Гораций Послания. Кн. 1, 20, 25. Пер. Н. С. Гинцбурга).

¹¹ В тексте мемуаров переплетаются события настоящего и прошлого: в юности жизнь была борьбой, в старости борьбой стало творчество. Чужая глупость, бывшая некогда источником доходов, сделалась бичом для дряхлого авантюриста. Итак, по хронологии мемуаров сейчас май 1744 г. Казанова только что исполнилось 19 лет. Месяц назад, как он рассказывает в предыдущей главе, он лишился чемодана и решил вместо платья аббата заказать мундир офицера. На земле Италии шла война за австрийское наследство (1741–1748), и только военные пользовались уважением. Казанова возвращается в Венецию, покупает должность лейтенанта (его производят в прапорщики с обещанием повысить в течение года) и отправляется в свой полк на остров Корфу. Первая остановка – в городе Орсара (Врсар) в Истрии. На самом деле здесь автор соединяет два своих путешествия на Восток, совершенные весной 1741 г. и летом 1744 – осенью 1745 г. Ссылка на «глупую служанку» позволяет избежать упреков в нарушении хронологии.

– Вы должны простить меня, сударь, ибо любопытство мое рождено благодарностью. Вы человек, которому я в величайшей степени обязан, и мне остается верить, что Господь снова привел вас в этот город, дабы обязательства мои перед вами еще умножились.

– Что же такого я для вас сделал и что могу сделать? Не могу взять в толк.

– Соболаговолите позавтракать со мною в моем доме – вон его открытая дверь. Отведите моего доброго *рефоско*¹², выслушайте мой короткий рассказ и убедитесь, что вы воистину мой благодетель и что я вправе надеяться на то, что вернулись вы сюда, дабы возобновить свои благодеяния.

Человек этот не показался мне сумасшедшим, и я, вообразив, что он хочет склонить меня купить у него *рефоско*, согласился отправиться к нему домой. Мы поднимаемся на второй этаж и входим в комнату; оставив меня, он идет распорядиться об обещанном прекрасном завтраке. Кругом я вижу лекарские инструменты и, сочтя хозяина моего лекарем, спрашиваю его о том, когда он возвращается.

– Да, мой капитан, – отвечал он, – я лекарь. Вот уже двадцать лет живу я в этом городе и все время бедствовал, ибо ремесло свое случалось мне употреблять разве лишь на то, чтобы пустить кровь, поставить банки, залечить какую-нибудь царапину либо вправить на место вывихнутую ногу. Заработать на жизнь я не мог; но с прошлого года положение мое, можно сказать, переменялось: я заработал много денег, с выгодой пустил их в дело – и не кто иной, как вы, благослови вас Господь, принесли мне удачу.

– Каким образом?

– Вот, коротко, как все случилось. Вы наградили известною хворью экономку дона Иеронима, которая подарила ее своему дружку, который, как подобает, поделился ею с женой. Жена его, в свой черед, подарила ее одному распутнику, который так славню ею распорядился, что не прошло и месяца, как под моим владычеством было уже с полсотни клиентов¹³; в последующие месяцы к ним прибавились новые, и всех я вылечил – конечно же за хорошую плату. Несколько больных у меня еще осталось, но через месяц не будет и их, ибо болезнь исчезла. Увидев вас, я не мог не возрадоваться. В моих глазах вы стали добрым вестником. Могу ли я надеяться, что вы пробудете здесь несколько дней, дабы болезнь возобновилась?

Насмевшись вдоволь, я сказал ему, что нахожусь в добром здравии, и он заметно огорчился. Он предупредил, что по возвращении я не смогу похвалиться тем же, ибо страна, куда я направляюсь, в преизбытке богата дурным товаром, от которого никто так не умеет избавиться, как он. Он просил рассчитывать на него и не верить шарлатанам, которые станут предлагать свои лекарства. Я пообещал ему все, что он хотел, поблагодарил его и вернулся на корабль.

Я рассказал эту историю г-ну Дольфину, и он смеялся до упаду. Назавтра мы подняли парус, а спустя четыре дня претерпели за Курцолою жестокою бурю. Буря эта едва не стоила мне жизни, и вот каким образом.

Служил на корабле нашем капелланом священник-славянин, большой невежда, наглец и грубиян, над которым я по всякому поводу насмехался и который питал ко мне справедливую вражду. В самый разгар бури расположился он на палубе с трепником в руках и пустился заклинать чертей, что виделись ему в облаках¹⁴; он их показывал всем матросам, а те, решив, что от гибели не уйти, плакали и в отчаянии забыли совершать маневры, необходимые, чтобы уберечь корабль от видневшихся справа и слева скал. Я же, видя со всей очевидно-

¹² *Рефоско* – вино, которым славится область Фриули.

¹³ Аналогичную комическую цепочку заболеваний выстраивает Вольтер в «Кандиде» (1759).

¹⁴ Вся история напоминает эпизод с бурей, испугавшей Панурга, из IV тома (главы 18–22) «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле (1652).

стью зло и пагубное действие, какое оказывали заклинания этого священника на отчаявшуюся команду, которую, напротив, следовало ободрить, весьма неосторожно решил, что мне надобно вмешаться. Вскарabкавшись сам на ванты, я стал побуждать матросов неустанно трудиться и небрежь опасностью, объясняя, что никаких чертей нет, а священник, их показывающий, безумец; однако ж сила моего красноречия не помешала священнику объявить меня безбожником и восстановить против меня большую часть команды. Назавтра и на третий день ветер не унимался, и тогда этот бесноватый внушил внимавшим ему матросам, что, покуда я остаюсь на корабле, буре не будет конца. Один из них приметил меня стоящим спиною у борта и, полагая, что настал благоприятный момент, дабы исполнить желание священника, ударом каната толкнул меня так, что я непременно должен был упасть в море. Так и случилось. Помешала мне упасть лапа якоря, зацепившаяся за одежду. Мне подали помощь, я был спасен. Один капрал указал мне матроса-убийцу, и я, схватив капральский жезл, стал его бить смертным боем; прибежали другие матросы со священником, и я бы пропал, когда б меня не защитили солдаты. Явились капитан корабля и г-н Дольфин и, выслушав священника, принуждены были, дабы утихомирить чернь, дать обещание высадить меня на берег, как только представится к тому случай; но священник потребовал, чтобы я доставил ему пергамент, купленный у одного грека в Маламокко перед самым отплытием. Я уже и позабыл о нем – но так все и было. Рассмеявшись, я сразу же отдал пергамент г-ну Дольфину, а тот передал его священнику, каковой, торжествуя победу, велел принести жаровню и швырнул его на раскаленные угли. Прежде, нежели обратиться в пепел, пергамент этот в продолжение получаса корчился в судорогах, и сей феномен утвердил матросов в мысли, что тарабарщина на нем – от дьявола. Пергамент этот якобы имел свойство внушать всем женщинам любовь к своему владельцу. Надеюсь, читатель будет столь добр и поверит, что я нимало не полагался ни на какие приворотные зелья и купил пергамент этот за пол-эку только для смеха. По всей Италии и по всей Греции, древней и новой, попадаются греки, жида и астрологи, что сбывают простофилям бумаги, наделенные волшебными свойствами; среди прочего – *чары*, чтобы сделаться неуязвимым, и мешочки со всякой дрянью, содержимое которых они именуют *домовым*. Весь этот товар не имеет никакого хождения в Германии, во Франции, в Англии и вообще на севере; но зато в странах этих впадают в иного рода обман, много более важный. Здесь ищут философский камень – и не теряют надежды.

Непогода улеглась как раз в те полчаса, что заняло сожжение моего пергамента, и заговорщики более не помышляли избавиться от моей особы. Через неделю весьма счастливого плавания мы прибыли на Корфу¹⁵. Отлично устроившись, отнес я свои рекомендательные письма Его Превосходительству генералу-проведитору¹⁶, а после – всем морским офицерам, к кому получил рекомендации. Засвидетельствовав свое почтение полковнику и всем офицерам полка, я уже не помышлял ни о чем, кроме развлечений, до самого прибытия кавалера Венье, который должен был ехать в Константинополь и взять меня с собою. Прибыл он к середине июня, и до того времени я, пристрастившись к игре в бассет¹⁷, проиграл все свои деньги и продал либо заложил драгоценности. Такова участь всякого, кто склонен к азартным играм, – разве только он одолеет себя и сумеет играть счастливо, доставив себе истинное преимущество расчетом или умением. Разумный игрок может пользоваться и тем и другим, не пятная себя жульничеством.

¹⁵ Остров Корфу (Керкира), принадлежавший Венецианской республике, сильной морской державе, с 1386 по 1797 г., был главным опорным пунктом, закрывавшим вход в Адриатическое море.

¹⁶ *Генерал-проведитор* – в мирное время командовал морскими силами Венецианской республики. Резиденция его была на Корфу. В 1744–1746 гг. им был Даниэле Дольфин.

¹⁷ *Бассет* – карточная игра. В отличие от фараона, где число игроков не ограничено, в бассете против банкмета играют четверо понтирующих, каждому из них выдается 13 карт одной масти.

Во весь месяц, проведенный на Корфу до прибытия балио¹⁸, я нисколько не изучал ни местной природы, ни местных нравов. Если не нужно было идти в караул, я дни напролет проводил в кофейне, ожесточенно сражаясь в фараон и, конечно же, усугубляя беду, которую упорно стремился презреть. Ни разу не воротился я домой, утешаясь выигрышем, и ни разу не достало у меня силы бросить игру, доколе, спустив деньги, я сохранял еще векселя. Я получал одно лишь дурацкое удовлетворение: всякий раз, как бывала бита решительная моя карта, сам банкомет называл меня «отличным игроком».

Пребывая в столь прискорбном положении, я, казалось, воскрес, когда выстрелы пушек возвестили о прибытии балио. Он приплыл на «Европе» – военном корабле с семьюдесятью двумя пушками на борту, одолевшим путь из Венеции всего за неделю. Едва бросив якорь, он поднял флаг командующего морскими силами Республики, а генерал-проведитор¹⁹ свой флаг приспустил. В Венецианской республике нет морского чина выше балио в Османской Порте. Свита у кавалера Венье была изысканная. Удовлетворяя свое любопытство, его сопровождали в Константинополь граф Аннибале Гамбера и граф Карло Дзеноббио, оба – венецианские дворяне, и маркиз д'Аркетти, дворянин из Бреши. В ту неделю, что балио и кортеж его провели на Корфу, все морские офицеры в свой черед задавали в их честь званые обеды и балы. Когда я был представлен, Его Превосходительство сразу же сказал, что уже говорил с г-ном генералом-проведителем и что тот предоставляет мне отпуск на полгода, дабы следовать за ним в адъютантском чине в Константинополь. Получив отпуск, я со скромным своим снаряжением взобрался на корабль; на завтра якорь был поднят, и г-н балио прибыл на борт в фелюке генерала-проведителя. Мы сразу же поставили парус, и в шесть дней попутный ветер привел нас к Цериге, где был брошен якорь и послано на берег несколько матросов, дабы запастись пресной водой. Любопытствуя увидеть Церигу – как говорят, древнюю Китуру²⁰, испросил я разрешения сойти. Лучше бы мне было оставаться на борту: я свел дурное знакомство. Со мною был один капитан, командовавший корабельным гарнизоном.

К нам подходят двое подозрительного вида и в лохмотьях и просят на пропитание. Я спрашиваю, кто они такие, и тот, что казался побойчее, отвечает так:

– Тирания Совета Десяти²¹ приговорила нас, и еще три-четыре десятка других несчастных, жить и, быть может, умереть на этом острове; а ведь все мы рождены подданными Республики. Пресловутое преступление наше никоим образом не является таковым – просто мы привыкли жить в обществе своих возлюбленных, не питая ревности к тем из своих друзей, кто, сочтя их привлекательными, наслаждался с нашего согласия их прелестями. Не обладая богатством, мы не считали зазорным обращать это к своей выгоде. Промысел наш почли недозволенным и отправили нас сюда, где выдают нам по десять сольдо в день в колониальной монете. Нас называют *tangiamarroni*²². Живем мы хуже галерников: нас снедает скука и гложет голод. Меня зовут Антонио Поккини, я падуанский дворянин, а моя мать происходит из славного рода Кампо Сан-Пьеро.

Мы подали им милостыню, обошли остров и, осмотрев крепость, вернулись на корабль. Об этом Поккини мы поговорим лет через пятнадцать-шестнадцать²³.

¹⁸ *Балио* – титул венецианского посланника в Константинополе, правителя и судьи венецианской колонии в этом городе, получавшего процент от торговых операций. Он был выше рангом, чем генерал-проведитор, но морскими силами не командовал.

¹⁹ *Генерал-проведитор* – в мирное время командовал морскими силами Венецианской республики. Резиденция его была на Корфу. В 1744–1746 гг. им был Даниэле Дольфин.

²⁰ На острове Кифера (Китира) в античности находился главный храм Афродиты.

²¹ *Совет Десяти* – орган верховной власти Венецианской республики, надзиравший за безопасностью государства, правонарушениями, ведавший финансовыми и дипломатическими вопросами.

²² Сводники, олухи (итальянское выражение XVII–XVIII вв.).

²³ Авантюриста, сутенера Антонио Поккини Казанова встретил в Голландии в 1759 г., затем в Штутгарте, Вене, Лондоне, стал жертвой его мошеннических проделок, отомстил ему, помирился.

Ветер дул по-прежнему благоприятный, и через восемь-десять дней мы достигли Дарданелл; подоспевшие турецкие лодки переправили нас в Константинополь. Город этот с расстояния в лье поражает – нет в мире зрелища более прекрасного. Великолепный вид его стал причиной падения Римской империи и начала греческой. Константин Великий, увидав Константинополь с моря, воскликнул, плененный зрелищем Византии: «Вот столица мировой империи!» – и, дабы сбылось собственное пророчество, покинул Рим и обосновался здесь. Когда б он прочел предсказание Горация либо поверил в него, ему бы никогда не совершить столь великой глупости. Ведь поэт написал: Римская империя станет клониться к упадку лишь тогда, когда один из преемников Августа задумает перенести столицу ее к месту своего рождения²⁴. Троада не так далеко отстоит от Фракии.

В Перу²⁵, во дворец Венеции прибыли мы к середине июля. В то время в огромном этом городе не было чумы – превеликая редкость. Все мы отменно устроились, однако сильная жара склонила обоих балио²⁶ отправиться в загородный дом, снятый балио Дона, дабы насладиться прохладой. Находился он в Буюджаре²⁷. Первое, что мне было приказано, – это не выходить из дому без ведома балио и без телохранителя-янычара. Я исполнял сей приказ в точности. В те времена русские еще не усмирили дерзкого турецкого народа²⁸. Меня заверяли, что ныне любой иностранец может идти, куда пожелает, без малейшей опаски.

Через день по прибытии я велел отвести меня к Осман-баше Караманскому²⁹. Таково было имя графа де Бонваль после его вероотступничества.

Я передал ему свое рекомендательное письмо, и меня проводили в комнату на первом этаже, обставленную во французском вкусе; я увидел тучного господина в летах, одетого с ног до головы на французский манер. Поднявшись, он со смехом спросил, чем может быть полезен в Константинополе для человека, рекомендованного кардиналом Церкви, которую сам он уже не вправе называть матерью. Вместо ответа я рассказал ему обо всем, что заставило меня в душевной скорби просить у кардинала рекомендательного письма в Константинополь; получив же его, я счел себя обязанным самым аккуратным образом явиться с ним по назначению. Иными словами, перебил он меня, не будь у вас письма, вы бы и не подумали прийти сюда, и во мне у вас нет никакой нужды.

– Никакой; однако ж я весьма счастлив, что теперь, благодаря письму, имею честь познакомиться в лице Вашего Превосходительства с человеком, о котором говорила, говорит и еще долго будет говорить вся Европа.

Порассуждав о том, сколь счастлив молодой человек, который, подобно мне, без всяких забот, не имея никакого предначертания и твердой цели, отдается на волю фортуны, презрев страх и надежду, г-н де Бонваль сказал, что письмо кардинала Аквививы понуждает его что-нибудь для меня сделать, а потому он хочет познакомить меня с тремя-четырьмя из своих друзей-турок, которые того стоят. Он пригласил меня по четвергам у него обедать, обещая

²⁴ Римский император Константин Великий, родившийся во Фракии, перенес в 330 г. столицу империи в Византию (древнее название – Троада). Казанова, видимо, имеет в виду следующие строки Горация из «Оды к Августу» (Оды, кн. III, 3, 57–60): «Но лишь один воинственным римлянам Завет кладу я: предков не в меру чтя И веря счастью, не пытайтесь-Дедовской Трои восставить стены!» Пер. Н. Гинцбурга

²⁵ *Пера*, европейский квартал в Константинополе.

²⁶ Старого, Джованни Дона, покинувшего город 12 октября 1745 г., и приехавшего в конце августа 1744 г. ему на смену нового, Франческо Венье.

²⁷ *Буюджаре* – точнее, Буюк Дерё.

²⁸ Имеются в виду русско-турецкие войны 1768–1774 и 1789–1791 гг.

²⁹ Французский военачальник граф Клод Александр де Бонваль в 1706 г. перешел на службу к Австрии, сражался под началом принца Евгения Савойского, в 1726 г. – в Венеции, в 1729 г. – в Турции, где сделался мусульманином, получил имя Ахмет и титул паши, т. е. правителя Карамана, должность генерал-аншефа и советника Высокой Порты. Его жизнь стала источником трех серий романизированных мемуаров (1737–1741).

присылать янычара, который оградит меня от наглой черни и покажет все, что заслуживает внимания.

В письме кардинала значилось, что я писатель; баша поднялся, говоря, что хочет показать мне свою библиотеку. Я последовал за ним. Через сад мы прошли в комнату с зарешеченными шкафами – за проволочными решетками видны были занавеси, за ними, должно быть, помещались книги.

Но как же смеялся я вместе с толстым башою, когда он открыл запертые на ключ шкафы, и взору моему предстали не книги, но бутылки, полные вина множества сортов!

– Здесь, – сказал он, – и библиотека моя, и сераль, ибо я уже стар, и женщины лишь сократили бы мой век, тогда как доброе вино продлит его либо уж, во всяком случае, скрасит.

– Полагаю, Ваше Превосходительство получили дозволение Муфтия?

– Вы ошибаетесь. Турецкий Папа наделен отнюдь не той же властью, что ваш: не в его силах разрешать запрещенное Кораном; однако ж это не помеха, и всякий волен погубить свою душу, если ему нравится. Набожные турки сожалеют о развратниках, но не преследуют их. Здесь нет Инквизиции. Тот, кто нарушает заповеди веры, будет, как они полагают, довольно мучиться в иной жизни, чтобы налагать на него наказания на этом свете. Испросил я – и получил без малейших затруднений – дозволения не подвергаться тому, что вы именуете обрезанием, хотя собственно обрезанием это назвать нельзя. В моем возрасте это было бы опасно. Обычно обряд этот соблюдают, однако ж он не входит в число заповедей.

Я провел у него два часа; он расспрашивал обо многих венецианцах, своих друзьях, и особенно о г-не Марке-Антонио Дьедо; я отвечал, что все по-прежнему его любят и сожалеют лишь об отступничестве его; он возразил, что турком стал таким же, каким прежде был христианином, и Коран знает не лучше, чем дотоле Евангелие.

– Без сомнения, – сказал он, – я умру с покойной душою и буду в сей миг много счастливей, чем принц Евгений. Мне надобно было произнести, что Бог есть Бог, а Магомет есть пророк его. Я это произнес, а думал я так или нет – это турок не заботило. Правда, я ношу тюрбан, ибо принужден носить мундир моего господина.

Он рассказал, что, не имея иного ремесла, кроме военного, решил поступить на службу к *падишаху* ³⁰ в чине генерал-лейтенанта, лишь когда понял, что остался вовсе без средств к жизни. К отъезду моему из Венеции, говорил он, *суп* успел уже съесть мою посуду; когда б народ еврейский решил поставить меня во главе пятидесятитысячного войска, я бы начал осаду Иерусалима.

Он был красив, разве только чересчур в теле. Вследствие сабельного удара носил над животом серебряную пластину, дабы поддерживать килу. Его сослали было в Азию, но ненадолго, ибо, по словам его, интриги в Турции не столь продолжительны, как в Европе, особенно при Венском дворе. Когда я откланялся, он сказал, что с тех пор, как сделался турком, ему еще не доводилось провести двух часов приятнее, нежели в моем обществе, и просил передать от него поклон обоим балию.

Г-н балио Джованни Дона, близко знававший его в Венеции, поручил мне передать ему множество приятнейших слов, а кавалер Венье изъявил неудовольствие, что не может доставить себе наслаждение и познакомиться с ним лично.

Прошел день после этой первой встречи, и наступил четверг, когда он обещал прислать за мною янычара. Слово он сдержал. Янычар, явившись в одиннадцать часов, проводил меня к баше, каковой на сей раз был одет по-турецки. Гости не замедлили прийти, и все мы, восемь человек, в самом веселом расположении духа уселись за стол. Обед прошел по-французски: французскими были и блюда, и церемониал; дворецкий баша был француз, да и повар тоже честный отступник. Он сразу же представил меня всем, однако говорить позволил лишь к

³⁰ Султану Махмуду I (1730–1754).

концу обеда. Говорили только по-итальянски, и турки, как я заметил, ни разу не произнесли между собою ни единого слова на своем языке. Слева от каждого стояла бутылка, в которой было, должно быть, белое вино или мед, не знаю. Я сидел слева от г-на де Бонваля и, как и он сам, пил великолепное белое бургундское.

Меня расспрашивали о Венеции, но еще больше — о Риме, отчего разговор перешел на религию, но не на учение, а на благочиние и литургические обряды. Один обходительный турок, которого все называли *эфенди*, ибо прежде он был министром иностранных дел, сказал, что в Риме у него есть друг, венецианский посланник, и вознес ему хвалу; вторя ему, я отвечал, что посланник вручил мне письмо к одному господину, мусульманину, которого также именовал своим близким другом. Он спросил, как зовут этого господина, и я, забыв имя, вытащил из кармана бумажник, где лежало письмо. Читая адрес, я произнес его имя. Он был до крайности польщен; испросив позволения, он прочел письмо, затем поцеловал подпись и, поднявшись, заключил меня в объятия. Зрелище это доставило величайшее удовольствие г-ну де Бонвалю и всему обществу. Эфенди, которого звали Исмаил, пригласил меня вместе с башою Османом на обед и назначил день.

Однако ж во время этого весьма приятного обеда наибольшее внимание мое привлек не Исмаил, но другой турок. То был красавец лет шестидесяти на вид; на благородном лице его явственно читалась мудрость и кротость. Те же черты представились мне два года спустя, на красивом лице г-на де Брагадина, венецианского сенатора, о котором я расскажу, когда придет время. С величайшим вниманием прислушивался он ко всем моим беседам за столом, но сам не произносил ни слова. Когда человек, которого вы не знаете, но чей облик и манеры привлекают интерес, находясь в одном с вами обществе, молчит, он пробуждает сильное любопытство. Выходя из обеденной залы, я спросил г-на де Бонваля, кто это; тот отвечал, что это богатый и мудрый философ, славный своею добродетелью, — чистота нравов его равна лишь приверженности вере. Он советовал мне поддерживать знакомство с ним, если мне удалось снискать его расположение.

Я с удовольствием выслушал это суждение и после прогулки в тени, когда все вошли в гостиную, убранную по местному обычаю, уселся на софе рядом с Юсуфом Али: именно так звали турка, что привлек мое внимание. Он сразу же предложил мне свою трубку, но я, вежливо отказавшись, взял ту, которую поднес мне слуга г-на де Бонваля. Когда находишься в обществе людей курящих, надобно непременно курить самому либо уходить: иначе волею-неволей воображаешь, что вдыхаешь дым из чужих ртов, а мысль эта заключает большую долю истины и вызывает отвращение и протест.

Довольный, что я сел рядом, Юсуф Али поначалу завел со мною разговор, подобный застольному, но главным образом о причинах, побудивших меня оставить мирное поприще священнослужителя и обратиться к военной службе. Я же, стараясь утолить его любопытство и не предстать в глазах его с дурной стороны, почел своим долгом рассказать вкратце всю историю своей жизни, ибо полагал необходимым убедить его в том, что вступил на стезю посланника Божьего не по душевному призванию. Казалось, он был удовлетворен. О призвании он говорил, как философ-стоик, и я признал его за фаталиста; у меня достало ловкости не возражать открыто против его взглядов, и замечания мои ему понравились, ибо он оказался в силах их опровергнуть. Быть может, потребностью высоко меня ценить он был обязан желанию сделать меня достойным своим учеником — ибо не мог же я, девятнадцатилетний и заблудший в ложной вере, стать его учителем. Целый час он расспрашивал меня о моих воззрениях и, выслушав мой катехизис, объявил, что я, по его мнению, рожден для познания истины, так как стремлюсь к ней и не вполне уверен, что сумел ее достигнуть. Он пригласил меня однажды прийти к нему и назвал дни недели, в которые я непременно его застаю, но предупредил, что прежде чем согласиться доставить ему это удовольствие, мне следует посоветоваться с башою Османом. Тогда я отвечал, что уже предуведомлен башою

о его нраве; он был очень польщен. Я обещал в назначенный день отобедать у него, и мы расстались.

Обо всем этом я рассказал г-ну де Бонвалю; весьма довольный, он сказал, что его янычар будет всякий день во дворце венецианских балио в полном моем распоряжении.

Я рассказал гг. балио о том, какие свел знакомства в тот день у графа де Бонваля, и они очень обрадовались. А кавалер Венье посоветовал поддерживать подобного рода знакомства, ибо в стране этой скука наводит на чужестранца не меньший страх, нежели чума³¹.

В назначенный день с самого раннего утра отправился я к Юсуфу, но его уже не было дома. Садовник, предупрежденный хозяином, оказал мне всяческие знаки внимания и два часа с приятностью занимал меня, показывая все красоты хозяйского сада и особенно цветы. Садовник этот был неаполитанец, служивший Юсуфу уже тридцать лет. Поведение его заставило меня предположить в нем образованность и благородство; однако ж он без обиняков признался, что никогда не учился грамоте, служил матросом, попал в рабство и столь счастлив на службе у Юсуфа, что почел бы наказанием, если б тот отпустил его на свободу. Я избегал спрашивать его о хозяйских делах: любопытство мое было бы посрамлено сдержанностью этого человека.

Прибыл на лошади Юсуф, и после подобающих случаю приветствий мы отправились вдвоем обедать в беседку, откуда видно было море и где мы наслаждались легким ветерком, умерявшим великую жару. Ветерок этот дует каждый день в один и тот же час и зовется «мистраль». Мы отлично поели, хотя из приготовленных блюд подан был один кауроман³². Пил я воду и превосходный мед, уверяя хозяина, что он мне больше по вкусу, чем вино. В то время пил я его весьма редко. Расхваливая мед, я сказал, что мусульмане, преступающие закон и пьющие вино, недостойны снисхождения, ибо пьют, должно быть, единственно потому, что оно запрещено; Юсуф заверил, что многие не считают грехом употреблять вино, полагая его лекарством. Пустил в ход это лекарство, по его словам, врач самого падишаха, составивший через это целое состояние и снискавший безраздельное расположение господина, который и вправду все время болел, но лишь оттого, что постоянно был пьян. Юсуф удивился, когда я сказал, что у нас пьяницы весьма редки и что порок этот распространен лишь среди подлого отребья. Он заметил, что не понимает, отчего все остальные религии не запрещают вина, лишаящего человека разума, и я отвечал, что все религии запрещают неумеренное его употребление и грехом можно считать лишь неумеренность. Он согласился со мною, что вера его должна была бы воспретить и опиум, ибо действует он так же, и много сильнее, и возразил, что во всю свою жизнь ни разу не курил опиума и не пил вина.

После обеда нам принесли трубки и табаку. Набивали трубки мы сами. Я в то время курил, и с удовольствием, однако имел привычку сплевывать. Юсуф же не сплевывал; он сказал, что табак я сейчас курю отменный, с коноплюю добавкой, и что ему жаль той бальзамической его части, которая, должно быть, содержится в слюне, и я зря не глотаю ее, а попросту выбрасываю. Сплевывать, заключил он, подобает лишь тогда, когда куришь дурной табак. Согласившись с его доводами, я отвечал, что трубку и в самом деле можно полагать истинным удовольствием, лишь когда табак в ней всем хорош.

— Конечно, — отозвался он, — отличный табак необходим, дабы получать от курения удовольствие; но не он главное, ибо удовольствие от хорошего табака — лишь чувственное удовольствие. Истинное наслаждение ничуть не зависит от органов чувств и воздействует на одну только душу.

— Не могу вообразить себе, дорогой Юсуф, какими удовольствиями могла бы наслаждаться душа моя без посредства чувств.

³¹ Устойчивый мотив мемуаров Казановы: скука для него — смертельная болезнь.

³² *Кауроман* — кавурма, блюдо из рубленого вареного мяса.

– Так слушай. Получаешь ли ты удовольствие, набивая трубку?

– Да.

– Которому же из чувств отнесешь ты его, если не душе твоей? Пойдем далее. Ты ощущаешь удовлетворение, отложив ее, лишь когда выкуришь до конца, не так ли? Ты доволен, когда видишь, что в трубке не осталось ничего, кроме пепла.

– Так оно и есть.

– Вот уже два удовольствия, в которых чувства твои отнюдь не принимают участия; а теперь, прошу тебя, угадай третье, главное.

– Главное? Благовоние табака.

– Отнюдь нет. Это удовольствие обоняния – оно чувственно.

– Тогда не знаю.

– Итак, слушай. Главное удовольствие от курения заключается в самом созерцании дыма. Ты никогда не сможешь увидеть, как он исходит из трубки; но ты видишь, как весь он появляется из угла твоего рта, через равные, не слишком малые промежутки времени. Воистину удовольствие это главное: ведь ты никогда не увидишь слепого, которому бы нравилось курить. Попробуй сам закурить ночью в комнате, где нет огня: ты не успеешь зажечь трубку, как уже отложишь ее.

– Слова твои – истинная правда; но прости: я полагаю, что многие из удовольствий, влекущих мои чувства, предпочтительнее для меня, нежели те, что влекут к себе одну лишь душу.

– Сорок лет назад я думал так же, как ты. Спустя сорок лет, если удастся тебе обрести мудрость, ты станешь думать так же, как я. Удовольствия, пробуждающие страсти, смущают душу, сын мой, а потому, как ты понимаешь, не могут с полным правом быть названы удовольствиями.

– Но мне кажется, что удовольствию достаточно лишь представлять таковым, дабы им быть.

– Согласен; но когда бы ты дал себе труд и поразмыслил над ними, испытав их, то не почел бы их чистыми.

– Быть может, и так; но к чему мне давать себе труд, который послужит лишь к уменьшению испытанного мною удовольствия?

– Придет время, и ты станешь получать удовольствие от самого этого труда.

– Мне представляется, дорогой отец, что юности ты предпочитаешь зрелость.

– Говори смелей – старость.

– Ты удивляешь меня. Должен ли я понимать так, что в юности ты был несчастлив?

– Нимало. Я всегда был здоров и счастлив, никогда не становился жертвою страстей; но наблюдение над сверстниками моими стало мне доброй школой – я научился понимать людей и обрел путь к счастью. Счастливейший человек не тот, у кого более всего наслаждений, но тот, кто умеет из всех наслаждений выбрать великие; великими же, повторяю тебе, могут быть лишь наслаждения, которые, минуя страсти, умножают покой души.

– Это те наслаждения, что ты называешь чистыми.

– Таково зрелище обширного, покрытого травой луга. Зеленый цвет его, восславленный божественным нашим пророком, поражает мой взор, и в этот миг я чувствую, как дух мой погружается в блаженный покой – словно я приближаюсь к творцу всего сущего. Тот же мир, подобный же покой ощущаю я, сидя на берегу реки и глядя на стремящийся предо мною поток, не ускользающий никогда от взора и вечно прозрачный в беге своем. Он представляется мне образом моей жизни и того покоя, в котором я желаю ей достигнуть, подобно созерцаемой воде, незримого предела в ее устье.

Так рассуждал этот турок. Мы провели вместе четыре часа. От двух прежних жен у него осталось двое сыновей и дочь. Старший уже получил свою долю, жил в Салониках и

разбогатель торговлей. Младший находился на службе у султана, в большом серале, и долей его распоряжался опекун. Пятнадцатилетней дочери, которую он называл Зельми, предстояло после его смерти унаследовать все имущество. Юсуф дал ей самое лучшее, какого только можно желать, воспитание, дабы она составила счастье того, кто будет сужен Богом ей в супруги. Скоро мы еще поговорим об этой девушке. Жены его умерли, и пять лет назад он женился в третий раз на юной красавице, уроженке Хиоса, однако, по его словам, из-за старости уже не надеялся иметь от нее ни сына, ни дочери. Между тем ему минуло всего шестьдесят лет. Прощаясь, я должен был обещать, что стану бывать у него по меньшей мере один раз в неделю.

За ужином я рассказал гг. балию, как провел день, и они заключили, что мне отменно повезло, ибо я могу надеяться с приятностью провести три месяца в стране, где сами они, чужеземные посланники, могут лишь умирать от скуки.

По прошествии трех или четырех дней г-н де Бонваль отвел меня на обед к Исмаилу, где взору моему предстала картина великой азиатской роскоши; однако многочисленные гости говорили почти все время по-турецки, и я скучал – равно как, показалось мне, и г-н де Бонваль. Приметив это, Исмаил, когда мы уходили, просил меня завтракать у него возможно чаще, уверяя, что я доставлю ему истинное удовольствие. Я обещал, и дней через десять-двенадцать исполнил свое обещание. В своем месте читатель обо всем узнает. Теперь же мне надобно вернуться к Юсуфу, нрав которого, открывшийся во второй мой визит, пробудил во мне великое уважение к нему и сильнейшую привязанность.

Обедали мы наедине, как и в прошлый раз, и разговор зашел об изящных искусствах; я высказал свое суждение об одной из заповедей Корана, лишаящей подданных Оттоманской Порты столь невинного удовольствия, как наслаждение созданиями живописцев и скульпторов. Он отвечал, что Магомету, как истинному мудрецу, непременно нужно было удалить от глаз мусульман любые изображения.

– Вспомни, что все народы, которым великий наш пророк открыл *Бога*, были идолопоклонники. Люди слабы: глядя на те же предметы, они с легкостью могли впасть в прежние заблуждения.

– Я полагаю, дорогой отец, что никогда ни один народ не поклонялся изображению, но, напротив, изображенному божеству.

– Мне тоже хотелось бы так думать; но *Бог* бесплотен, а значит, следует удалить из головы черни мысль, что он может быть вещен. Вы, христиане, единственные верите, будто видите Бога.

– Воистину так, мы в этом уверены; но не забывай, прошу тебя, что уверенность эту дарует нам вера.

– Знаю; но оттого вы не менее идолопоклонники, ибо видимое вам – всего лишь материя, а уверенность ваша безраздельна – разве только ты скажешь, что вера умаляет ее.

– *Господь* сохранит меня от таких слов, ибо, напротив, вера ее укрепляет.

– У нас, хвала Господу, нет нужды в подобной иллюзии, и ни один философ в мире не сумеет доказать мне необходимость ее.

– Вопрос этот, дорогой отец, принадлежит не к философии, но к богословию, которое много ее выше.

– Ты рассуждаешь, словно наши богословы, которые, впрочем, отличны от ваших в том, что употребляют свою науку не для сокрытия истин, нуждающихся в познании нашем, но для прояснения их.

– Вообрази, дорогой Юсуф, речь идет о таинстве.

– Бытие *Бога* – уже величайшее таинство, чтобы людям набраться смелости что-либо к нему прибавить. Бог может быть только прост, и именно такого Бога возгласил нам пророк. Согласись, нельзя ничего добавить к сущности его, не нарушив простоты. Мы говорим, что

Бог един: вот образ простоты. Вы говорите, что он един, но в то же время тройствен: определение противоречивое, абсурдное и нечестивое.

– Это таинство.

– Бог или определение? Я говорю об определении, а оно не должно быть таинством, разум не должен отвергать его. Здравый смысл, дорогой сын, не может не почитать утверждение, сущность которого абсурдна, нелепостью. Докажи, что три не больше единицы или хотя бы может ей равняться, и я немедленно перейду в христианство.

– Религия моя велит мне верить, не рассуждая, дорогой Юсуф, и одна мысль о том, что силою рассуждений я, может статься, откажусь от веры моего милого отца, приводит меня в трепет. Сперва я должен убедиться в том, что он заблуждался. Скажи, могу ли я, почитая его память, быть столь самонадеянным, чтобы дерзнуть сделаться ему судьей и вознамериться вынести ему приговор?

Увещевание это, я видел, взволновало честного Юсуфа. Он умолк и минуты через две произнес, что подобный образ мыслей, вне сомнения, делает меня угодным *Богу*, а значит, его избранником; но что только *Бог* и может наставить меня, если я заблуждаюсь, ибо, сколько ему известно, ни один человек не в силах отвергнуть высказанное мною чувство. Мы весело поболтали о других вещах, и к вечеру, получив заверения в бесконечной и чистейшей дружбе, я удалился.

По дороге домой я размышлял о том, что Юсуф, быть может, прав, говоря о сущности *Бога*, ибо поистине *сущее всего сущего* не может в основе своей быть ничем иным, как только простейшим из всех существ; однако же вряд ли возможно, чтобы из-за заблуждения христианской религии я дал себя убедить и перешел в турецкую веру, у которой может быть весьма справедливое представление о *Боге*, но которая смешна мне уже тем, что учением своим обязана величайшему сумасброду и обманщику. Но Юсуф, казалось мне, и не намерен был меня обращать.

В третий раз за обедом, когда разговор, по обыкновению, зашел о религии, я спросил, уверен ли он, что вера его единственно способна доставить смертному вечное спасение. Он отвечал, что не уверен в единственности ее, но что уверен в ложности христианства, ибо оно не может стать всеобщей религией.

– Отчего же?

– Оттого, что две трети планеты нашей не знают ни хлеба, ни вина. Корану же, заметь, можно следовать всюду.

Я не знал, что отвечать, и не стал лукавить. На замечание мое, что *Бог* невеществен, а значит, есть дух, он сказал, что нам ведомо лишь то, чем он не является, но не то, что он есть, а стало быть, мы не можем утверждать, что он есть дух, ибо по необходимости имеем о нем лишь самое общее представление.

– Бог, – сказал он, – невеществен: вот все, что нам ведомо, и большего мы никогда не узнаем.

Я вспомнил, что и Платон говорит о том же³³, а Юсуф, без сомнения, не читал Платона.

В тот же день он сказал, что бытие *Бога* приносит пользу лишь тем, кто в него верит, а потому безбожники – несчастнейшие из смертных.

– Бог, – говорил он, – создал человека по подобию своему, дабы из всех сотворенных им животных одно способно было воздать хвалу бытию его. Не будь человека, не было бы и свидетеля славы Господней; а потому человек должен понимать, что первейший его долг – верша справедливость, славить *Бога* и доверяться Провидению. Вспомни, что *Бог* никогда не оставит того, кто в невзгодах простирается перед ним и молит о помощи, и покидает в отчаянии и гибели несчастного, полагающего молитву бесполезной.

³³ По Платону мир подлинного бытия, вечных сущностей – это мир идей, объединенных идеей Блага.

– Однако счастливые атеисты все же существуют.

– Верно; но, хотя в душах их царит покой, мне представляются они достойными сожаления, ибо ни на что не надеются после земной жизни и не признают превосходства своего над животными. К тому же, будучи философами, они не могут не погрязнуть в невежестве, а коли не размышляют, то не имеют опоры в невзгодах. Наконец, *Бог* сотворил человека таким, что он не может быть счастлив без уверенности в божественной природе своего бытия. Во всяком сословии неминуемо возникает потребность признать ее – когда бы не так, человек никогда бы не признал *Бога* творцом всего сущего.

– Но объясни мне, отчего атеизм никогда не являл себя иначе, нежели в воззрениях какого-либо ученого, и не представилось примера, чтобы он стал воззрением целого народа?

– Оттого, что бедный понимает свои нужды много лучше богатого. Среди таких, как мы, немало нечестивцев, что насмеваются над верующими, уповающими во всем на паломничество в Мекку. Несчастные! Им подобает чтить древние памятники, которые, возбуждая благочестие в правоверных и питая их религиозное чувство, укрепляют их в невзгодах. Не будь этого утешения, невежественный народ впал бы в отчаяние и пустился во все тяжкие.

Счастливый вниманием, с которым я слушал его учение, Юсуф с каждым разом все более предавался своей склонности к наставлению. Я стал приходить к нему на целый день без приглашения, и оттого дружба наша еще окрепла.

Однажды утром я велел проводить себя к Исмаилу эфенди, дабы, исполняя данное обещание, позавтракать с ним. Турок встретил и принял меня как нельзя более достойно, но затем пригласил совершить прогулку в небольшом саду, и там в беседке явилась ему фантазия, каковая пришлось мне отнюдь не по вкусу; со смехом я отвечал, что не любитель подобных развлечений, и наконец, утомившись его ласковой настойчивостью, не вполне учтиво вскочил. Тогда Исмаил сделал вид, что одобряет мое отвращение, и объявил, что пошутил. Раскланявшись подобающим образом, я удалился в твердом намерении более к нему не приходить; однако ж пришел еще раз, и в своем месте мы об этом поговорим. Я поведал об этом приключении г-ну де Бонвалю, и тот объяснил, что Исмаил, согласно турецким обычаям, полагал доставить мне знак величайшего своего расположения, но что я могу не сомневаться – впредь, если мне случится бывать у Исмаила, он более не предложит мне ничего подобного, ибо во всем остальном весьма обходителен и имеет во власти рабов совершенной красоты. Он сказал, что учтивость велит мне не прекращать своих визитов.

По прошествии пяти или шести недель с начала нашей дружбы Юсуф спросил, женат ли я, и, получив отрицательный ответ, завел разговор о целомудрии, которое, как он полагал, должно считаться добродетелью, лишь когда влечет за собою воздержание; однако ж оно не может быть угодно Богу и, должно быть, противно ему, ибо нарушает первейшую заповедь, данную Творцом человеку.

– Хотел бы я понять, – продолжал он, – что такое целомудрие для ваших рыцарей Мальтийского ордена. Они дают обет целомудрия; это не означает, что они станут вовсе воздерживаться от плотского греха, ибо, когда б он воистину считался грехом, всякий христианин отказался бы от него при крещении. Значит, обет заключается единственно в безбрачии. Значит, целомудрие может быть нарушено лишь в браке, а брак, замечу, – одно из ваших таинств. Значит, господа эти обещают не что иное, как то, что никогда не совершат плотского греха в согласии с законом, указанным *Богом*, но вольны совершать его незаконно, сколько пожелают – настолько, что могут признавать своими сыновьями детей, появившихся вследствие этого двойного преступления. Детей этих они именуют побочными, или «естественными», – словно те, что рождены в брачном союзе, осененном таинством, не естественны! Итак, обет целомудрия не может быть угоден ни Богу, ни людям, ни тем, кто его блюдет.

Он спросил, женат ли я. Я отвечал, что не женат и надеюсь никогда не оказаться принужденным заключить сей союз.

– Как! – воскликнул он. – Должен ли я полагать, что в тебе есть изъян, либо что ты жаждешь обречь себя на вечные муки, – если, конечно, не скажешь, что христианин ты лишь с виду?

– Во мне нет изъяна, и я христианин. Скажу тебе больше: я люблю прекрасный пол и надеюсь наслаждаться его расположением.

– Значит, согласно твоей вере, ты будешь навеки проклят.

– Уверен, что нет, ибо в грехах своих мы исповедуемся священникам, и они дают нам отпущение.

– Знаю; но, согласись, нелепо полагать, будто *Бог* простит тебе проступок, который ты, возможно, и не совершил бы, не будучи уверен, что на исповеди он простится. *Бог* прощает лишь раскаявшихся.

– Вне всякого сомнения: исповедь предполагает раскаяние. Без него отпущение не имеет силы.

– И мастурбация также считается у вас грехом.

– Даже большим, нежели незаконное соитие.

– Знаю, и всегда этому удивлялся: ведь глуп тот законник, что создает неисполнимый закон. Мужчина, если он здоров и у него нет женщины, непременно должен мастурбировать, когда повелительная природа заставит его ощутить в том потребность. Тот, кто из страха запятнать свою душу нашел бы в себе силы воздержаться, мог бы смертельно заболеть.

– У нас полагают обратное. Считается, что подобным путем молодые люди вредят темпераменту и сокращают себе жизнь. Во многих общинах за ними следят всякую минуту, не позволяя совершить над собою это преступление.

– Эти надзиратели ваши – глупцы, а те, кто им платит, – безмозглы, ибо самый запрет обязательно усиливает желание нарушить столь тиранический и противный природе закон.

– Все же мне кажется, что, излишне предаваясь подобному распутству, изнуряющему и лишаящему силы, можно повредить здоровью.

– Согласен; но излишества не будет, коли не вызывать его нарочно – а те, кто запрещает этим заниматься, как раз его нарочно и вызывают. Не понимаю, отчего у вас не стесняют в этом девочек, но почитают за благо стеснять мальчиков.

– Для девочек здесь нет большой опасности, ибо они могут потерять лишь весьма малое количество вещества, которое к тому же происходит из иного источника, нежели зародыш жизни у мужчины.

– Не имею понятия; однако есть у нас доктора, полагающие, что бледность у девиц происходит именно от этого.

После этого и многих иных разговоров, в продолжение которых Юсуф Али, даже и не соглашаясь со мною, находил, что рассуждаю я весьма разумно, он удивил меня предложением, высказанным если не в тех же словах, во всяком случае, весьма сходным образом:

– У меня двое сыновей и дочь. О сыновьях я более не забочусь, они получили уже положенную им часть от того, чем я владею; что же до дочери моей, то, когда я умру, ей перейдет все мое состояние, а пока я жив, в моей власти осчастливить того, кто возьмет ее в жены. Пять лет назад я женился на молодой, но она не принесла мне ребенка и, уверен, уже не принесет, ибо я стар. Дочери моей, которой дал я имя Зельми, пятнадцать лет, она красива, с карими глазами и каштановыми волосами, как ее покойная мать, высока, хорошо сложена, ласкового нрава, и воспитал я ее так, что она достойна завладеть сердцем самого султана. Она знает по-гречески и по-итальянски, поет, аккомпанируя себе на арфе, рисует, вышивает и всегда весела.

Ни один мужчина в мире не может похвалиться, что видел ее лицо, меня же любит она так, что во всем полагается на мою волю. Девушка эта – сокровище, и я вручу его тебе,

если ты согласишься отправиться на год в Андринополь³⁴, к одному моему родственнику, дабы он научил тебя нашему языку, вере и обычаям. Через год ты вернешься и, как только примешь мусульманство, дочь моя станет твоей женой, у тебя будет дом, покорные рабы и рента, чтобы ни в чем не знать нужды. Вот и все. Я не хочу, чтобы ты отвечал мне ни теперь, ни завтра, ни в любой другой назначенный срок. Ты дашь ответ, когда Гений твой велит ответить и принять мой дар; если же ты не примешь его, то незачем в другой раз и говорить об этом. Не советую об этом деле и размышлять, ибо я заронил семя в твою душу, и отныне ты более не волен ни противиться своему предназначению, ни принимать его. Не торопись, не мешкай, не тревожься, и ты лишь исполнишь волю Бога и непреложный приговор своей судьбы. Такому, каким я узнал тебя, тебе недостает для счастья лишь общества Зельми. Провижу, ты станешь одним из столпов Оттоманской империи.

Сказав эту краткую речь, Юсуф прижал меня к груди и удалился, дабы я, наверное, не смог дать ему ответа. Я возвратился к себе, предаваясь столь глубоким раздумьям над предложением Юсуфа, что даже не заметил пройденного пути. Оба балию, равно как день спустя и г-н де Бонваль, приметили мою задумчивость и спросили о причине ее, но я осмотрительно промолчал. Я полагал, что сказанное Юсуфом более чем верно. Предмет был столь важным, что мне не подобало не только никому говорить о нем, но и думать до той минуты, пока дух мой не обретет покоя и уверенности, что никакому дуновению не нарушить того равновесия, в каком я должен был принять решение. Все страсти мои, предубеждения, предрассудки и даже известный личный интерес должны были умолкнуть. На завтра, проснувшись, я позволил себе чуть поразмыслить и понял, что, думая, могу помешать самому себе принять решение и что если и должен решиться, то лишь вследствие того, что нимало не думал.

В таких случаях стойки говорили *sequere Deum*³⁵. Четыре дня я не бывал у Юсуфа, и когда на пятый явился, оба мы очень обрадовались; нам и в голову не пришло сказать хоть слово о предмете, о котором, однако, по необходимости не могли оба не думать. Так прошло две недели; но молчание наше происходило не из скрытности и не из чего-либо, как только из дружбы и уважения, какое мы питали друг к другу, а потому он, заведя речь о своем предложении, сказал, что, как ему представляется, я обратился к какому-либо мудрецу, дабы вооружиться добрым советом. Я заверил его в обратном, говоря, что в столь важном деле не должен следовать ничьему совету.

— Я положился на Бога, всецело доверился ему и уверен, что сделаю правильный выбор; либо я решусь стать твоим сыном, либо останусь тем, кто я есть. Пока же мысль об этом посещает душу мою утром и вечером, в минуты, когда, наедине со мною, пребывает она в величайшем спокойствии. Когда решимость посетит меня, лишь тебе, *патераму*³⁶, дам я знать, и с той минуты стану повиноваться тебе, как отцу.

Объяснение это исторгло из глаз его слезы. Левую руку он возложил мне на голову, указательный и средний пальцы правой — мне на лоб и велел поступать так же и впредь в уверенности, что не ошибусь в своем выборе. Я отвечал, что, может статься, дочери его Зельми я не понравлюсь.

— Моя дочь любит тебя, — возразил он, — всякий раз, как мы обедаем вместе, она, пребывая в обществе моей жены и своей воспитательницы, видит тебя и слушает весьма охотно.

— Но она не знает, что ты назначил ее мне в супруги.

— Она знает, что я стремлюсь обратить тебя, дабы соединить ее судьбу с твоею.

— Я рад, что тебе не дозволено показать мне ее: она могла бы меня ослепить, и тогда, движимый страстью, я уже не мог бы надеяться принять решение в чистоте души.

³⁴ Андринополь — Адрианополи (Эдирне).

³⁵ Следуй Богу! (Лат.)

³⁶ Отец мой (греч.).

Слыша такие мои рассуждения, Юсуф радовался необычайно; я же отнюдь не лицемерил и говорил от чистого сердца. Одна мысль о том, чтобы увидеть Зельми, приводила меня в трепет. Я твердо знал, что, влюбившись в нее, без колебаний стану турком, тогда как, будучи равнодушен, никогда – это я знал столь же твердо – не решусь на подобный шаг, каковой в придачу не только не представлялся мне привлекательным, но, напротив, являл картину весьма неприятную в отношении как настоящей, так и будущей моей жизни. Ради богатств, равные которым я, положившись на милость судьбы, мог надеяться обрести во всяком месте Европы и без постыдной перемены веры, мне, как я полагал, не подобало равнодушно сносить презрение тех, кто меня знал и к чьему уважению я стремился. Мне невозможно было отрешиться от прекрасной надежды, что я стану знаменит среди просвещенных народов, прославившись хотя в искусствах, хотя в изящной словесности либо на любом ином поприще; мне нестерпима была мысль о том, что сверстники мои пожнут славу, быть может, уготованную мне, останься я по-прежнему с ними. Мне представлялось, и справедливо, что надеть тюрбан – участь, подобающая лишь людям отчаявшимся, а я к их числу не принадлежал. Но особенное негодование мое вызывала мысль, что я должен буду отправиться на год в Андринополь, дабы научиться варварскому наречию, которое нимало меня не привлекало и которому по этой причине я едва ли мог выучиться в совершенстве. Мне нелегко было, одолев тщеславие, лишиться репутации человека красноречивого, которую я снискал повсюду, где побывал. К тому же прелестная Зельми, может статься, отнюдь не показалась бы мне таковой, и уже из одного этого я сделался бы несчастлив: Юсуф мог прожить на свете еще лет двадцать, я же чувствовал, что, перестав оказывать должное внимание его дочери, из почтения и благодарности к доброму старику никогда не сумел бы набраться смелости и смертельно его оскорбить. Таковы были мысли мои; Юсуф о них не догадывался, и открывать ему их не было никакой нужды.

Спустя несколько дней на обеде у дорогого моего баши Османа я встретил Исмаила эфенди. Он выказывал мне самое дружеское расположение, я отвечал тем же и поддался на упреки его, что не пришел в другой раз к нему на завтрак; однако ж, отправляясь в этот другой раз к нему на обед, я почел нужным идти вместе с г-ном де Бонвалем. В назначенный день я пришел и после обеда наслаждался прелестным зрелищем: рабы-неаполитанцы обо-его пола представили забавную пантомиму и танцевали калабрийские танцы. Г-н де Бонваль завел речь о венецианском танце, именуемом *фурлао*³⁷, Исмаил обнаружил любопытство, и я отвечал, что смогу показать его, однако ж мне надобна танцовщица из моего отечества и скрипач, который бы знал мелодию. Взяв скрипку, я сыграл Исмаилу мелодию; но даже если б танцовщица и была найдена, мне невозможно было в одно время играть и танцевать. Тогда Исмаил поднялся и отвел в сторону одного из евнухов; тот удалился и, вернувшись через три-четыре минуты, сказал ему что-то на ухо. Исмаил объявил, что танцовщица уже найдена, и я отвечал, что найду и скрипача, если ему угодно будет послать кого-нибудь с запискою в Венецианский дворец. Все сделано было весьма скоро. Я написал записку, он отослал ее, и через полчаса явился со своею скрипкой слуга балио Дона. Минуту позже отворилась дверь в углу залы – и вот является из нее красавица с лицом, скрытым черной бархатною маской овальной формы, из тех, что в Венеции именуют *мореттой*³⁸. Все общество пришло в удивление и восторг, ибо нельзя было представить предмета более приманчивого, нежели эта маска, как стройностью стана, так и изысканностью манер. Богиня встает в позицию, я с нею, и мы танцуем шесть фурлан кряду. Нет на родине танца стремительней: но я задыхаюсь, а красавица, держась прямо и недвижно, не выказывает ни малейшей усталости и явно

³⁷ Танец сквозной мотив мемуаров, метафора любовной игры. Казанова танцует в Венеции, Франции, России, Испании.

³⁸ Черная бархатная маска, застежку которой надо держать во рту. Моретта не только скрывает лицо, но и делает человека немим.

бросает мне вызов. На поворотах, как нельзя более утомительных, она, казалось, парила над землею. Я был изумлен донельзя: и в самой Венеции не случалось мне видеть, чтобы так хорошо танцевали. Отдохнув немного и несколько стыдясь своей слабости, я снова приблизился к ней и сказал: «*Ancora sei, e poi basta, se non volete vedermi a morire*»³⁹. Она, быть может, отвечала бы мне, если б могла – но в подобного рода маске невозможно произнести ни слова; пожатие руки, незаметное для всех, сумело заменить красноречие. Мы станцевали еще шесть фуриан, евнух открыл ту же дверь, и она исчезла.

Исмаил рассыпался в благодарностях, однако ж это я должен был благодарить его – за единственное истинное удовольствие, что получил в Константинополе. Я спросил, венецианка ли эта дама, но он отвечал лишь лукавой улыбкой. Под вечер все мы удалились.

– Этот славный человек поплатился сегодня за свою роскошь, – сказал мне г-н Бонваль, – и, уверен, уже раскаивается, что позволил своей красавице рабыне с вами танцевать. По здешнему предрассудку, поступок этот пятнает его славу, и я советую вам остерегаться: вы наверное понравились этой девушке, стало быть, она задумает вовлечь вас в какую-нибудь интригу. Будьте осмотрительны – это всегда опасно, принимая в соображение турецкие нравы.

Я обещал не втягиваться ни в какую интригу, но слова своего не сдержал.

Спустя три-четыре дня встретила меня на улице старуха рабыня и предложила шитый золотом кисет для табаку, запросив за него пиастр; взяв по ее настоянию кисет в руки, я почувствовал внутри письмо; она же, я видел, старалась не попасть на глаза шагавшему позади меня янычару. Я заплатил, она удалилась, а я отправился своей дорогой, к Юсуфу, и, не застав его дома, пошел гулять в сад. Письмо было запечатано, адрес не надписан, а значит, рабыня могла ошибиться; любопытство мое еще усилилось. Письмо написано было довольно правильно по-итальянски, вот перевод его: «Если вам любопытно увидеть ту, что танцевала с вами фуриану, приходите под вечер на прогулку в сад, что за прудом, и сведите знакомство со старой служанкой садовника, спросив у нее лимонаду. Быть может, вам случится увидеть ее без всякой опасности, даже если по случайности встретится вам Исмаил; она венецианка. Не говорите, однако, никому ни слова об этом приглашении, это важно».

Не таков я дурак, дорогая соотечественница, вскричал я в восхищении, словно она уже была передо мною, и сунул письмо в карман. Но тут выходит из боскета красивая старая женщина и, подойдя ко мне, спрашивает, что мне угодно и как я заметил ее. Я отвечаю со смехом, что говорил сам с собою, не думая быть услышанным. Она, не таясь, сказала, что рада говорить со мною, что сама она римлянка, воспитала Зельми и выучила ее петь и играть на арфе. Похвалив красоту и милый нрав своей ученицы, она заверила, что, увидав ее, я бы непременно влюбился; однако ж, к досаде ее, это не дозволено.

– Она видит нас теперь из-за вот этого зеленого жалюзи; мы любим вас с тех самых пор, как Юсуф сказал, что вы, быть может, станете супругом Зельми сразу по возвращении из Андринополя.

Спросив, могу ли я рассказать Юсуфу о признании ее, и получив отрицательный ответ, я тотчас понял, что, попроси я настойчивей, она решилась бы доставить мне удовольствие и показала свою прелестную ученицу. Для меня нестерпима была даже мысль о том, чтобы поступком своим огорчить дорогого мне хозяина, но всего более боялся я вступать в лабиринт, где с легкостью мог бы пропасть. Тюрбан, казалось, видневшийся мне издали, приводил меня в ужас.

Подождал Юсуф и, увидев, что я беседую с этой римлянкой, как мне почудилось, не рассердился. Он поздравил меня, сказав, что я, должно быть, получил немалое удовольствие, танцуя с одной из красавиц, сокрытых в гареме сладострастника Исмаила.

³⁹ Еще шесть – и довольно, если вы не хотите моей смерти (*um.*).

– Это, стало быть, большая новость, о ней говорят?

– Такое нечасто случается, ведь в народе властвует предрассудок, запрещающий являть завистливым взорам красавиц, которыми мы обладаем; однако в своем доме всякий волен поступать, как пожелает. К тому же Исмаил человек весьма обходительный и умный.

– Знает ли кто-нибудь даму, с которой я танцевал?

– О, не думаю! Всем известно, что у Исмаила их полдюжины, и все очень хороши, а эта, помимо прочего, была в маске.

Как обычно, мы самым веселым образом провели день; выйдя из его дома, я велел проводить себя к Исмаилу, который жил в той же стороне.

Здесь меня знали и впустили в сад. Я направился было к месту, указанному в записке, но тут меня заметил евнух и, приблизившись, сказал, что Исмаила нет дома, однако для него станет большой радостью узнать, что я прогуливался в его владениях. Я сказал, что выпил бы охотно стакан лимонаду, и он отвел меня к беседке, в которой сидела старая рабыня. Евнух велел подать мне отменного питья и не позволил дать старухе серебряную монету. После мы гуляли у пруда, но евнух сказал, что нам следует вернуться, и указал на трех дам, которых приличия предписывали избегать. Я благодарил его, просив передать от меня поклон Исмаилу, и затем вернулся к себе, довольный прогулкой и в надежде впредь быть счастливее.

Не далее нежели на следующий день получил я от Исмаила записку с приглашением на завтра вечером отправиться с ним ловить на крючок рыбу; ловля наша при лунном свете должна была продолжаться далеко за полночь. Надо ли говорить, что я надеялся увидеть желания свои исполненными! Я вообразил, что Исмаилу ничего не стоит свести меня с венецианкой; уверенность, что он будет третьим, не отвращала меня. Я испросил у кавалера Венье дозволения ночевать вне стен дворца, и он согласился, хоть и не без труда, ибо опасался, не приключилось бы какой неприятности из-за моего волокитства. Я мог бы успокоить его, обо всем рассказав, но мне представлялось, что здесь подобает хранить молчание.

Итак, в назначенный час я был у турка, встретившего меня самыми сердечными изъявлениями дружбы. К удивлению моему, в лодке мы оказались с ним вдвоем, кроме двух гребцов и рулевого. Мы поймали нескольких рыб и отправились есть их, зажаренных и приправленных маслом, в беседку; луна сияла, и ночь казалась ослепительней дня. Зная пристрастия его, я был не столь весел, как обыкновенно; хотя и успокаивал меня г-н де Бонваль, однако же я боялся, как бы не явилась Исмаилу прихоть выказать мне свою дружбу тем же способом, каким он пытался это сделать три недели назад и какой отнюдь не пришелся мне по нраву. Прогулка вдвоем была мне подозрительна и не казалась естественной. Я не мог унять беспокойства. Но вот какова оказалась развязка.

– Тише, – сказал он вдруг. – Я слышу некий шум; как я могу судить, сейчас мы позабавимся.

С этими словами он отослал своих людей и, взяв меня за руку, произнес:

– Идем спрячемся в одну беседку – ключ от нее, по счастью, у меня в кармане; но осторожней, шуметь нельзя. Одним из окон беседка эта выходит на пруд, куда, полагаю, отправились теперь купаться две-три моих девицы. Мы их увидим, они же и мысли не могут допустить, что за ними смотрят: нам предстоит насладиться чудеснейшим зрелищем. Они знают, что никому, кроме меня, не попасть в это место.

Сказав так, он отпирает беседку, по-прежнему держа меня за руку, и вот мы в полной темноте. Перед нами во всю ширь простирается освещенный луною пруд, каковой, будучи в тени, был бы для нас невидим; и прямо перед нашим взором видим трех обнаженных девушек, которые то плавают, то выходят из воды по мраморным ступеням и, стоя либо сидя на них, вытираются, являя прелести свои во всех положениях. Обольстительное зрелище это тотчас же воспламенило меня, и Исмаил, обмирая от радости, убедил меня не стесняться, но, напротив, поощрял отдаться действию, какое сей сладостный вид оказал на мою душу,

и сам подал мне в том пример. Я, как и он, принужден был довольствоваться находящимся подле предметом, дабы погасить пламень, разжигаемый тремя сиренами, каковых наблюдали мы попеременно в воде и на берегу; не глядя вовсе на наше окно, они, казалось, заводят сладострастные свои игры единственно для того, чтобы зрители, пристально за ними следящие, воспылали страстью. Мне хотелось думать, что так оно и было: оттого получал я только более удовольствия; Исмаил же, принужденный, находясь рядом, заменить собою дальний предмет, до которого не мог я достигнуть, торжествовал победу. В свой черед и он воздал мне по заслугам, и я стерпел. Воспротивившись, я поступил бы несправедливо и к тому же отплатил бы ему неблагодарностью, а к этому я не способен от природы. Во всю свою жизнь не случилось мне впадать в подобное безрассудство и так терять голову. Не зная, которая из трех нимф была моя венецианка, я обнаруживал черты ее в каждой по очереди и не щадил Исмаила, который, по видимости, успокоился. Достойный этот человек приятнейшим образом изобличил меня во лжи и вкусил от самой сладостной мести, но, дабы получить с меня долг, ему пришлось платить самому. Оставляю читателю заботу сосчитать, кто из нас остался в проигрыше; но, думается мне, чаша весов должна склониться в сторону Исмаила, ибо он понес все расходы. Что до меня, то я более у него не бывал и о приключении своем никому не рассказывал. Три сирены удалились, оргия кончилась, и мы, не зная, что сказать друг другу, лишь посмеялись над нею. Угостившись отменными вареньями разных сортов и выпив несколько чашек кофе, мы расстались. Единственный раз испытал я в Константинополе удовольствие подобного рода – и воображение участвовало в нем более, нежели реальность.

Несколькими днями позже я с раннего утра явился к Юсуфу; накрапывавший дождик не дал мне прогуляться в саду, и я направился в обеденную залу, где никогда не встречалось мне ни души. Вдруг при моем появлении поднимается с места очаровательная женская фигура и быстро набрасывает на лицо, опустивши со лба, плотную вуаль. Рабыня, что сидела у окна спиной к нам и вышивала на пяльцах, не двигается со стула. Извинившись, я показываю намерение удалиться, но женщина на чистом итальянском языке велит мне остаться и ангельским голосом произносит, что Юсуф, уходя, наказал ей занимать меня беседой. Указав на подушку, покоившуюся на других двух, побольше, она приглашает меня сесть; я повинуюсь, и она усаживается, скрестив ноги, на подушку прямо напротив меня. Я решил, что вижу перед собою Зельми и что Юсуфу вздумалось мне доказать, что он не трусливей Исмаила. Удивившись этому его поступку, которым нарушал он собственные свои правила и рисковал, пробудив во мне любовь, замутить согласие мое с его планами, я, однако, полагал, что бояться мне нечего, ибо не мог сделать решительного шага, не увидав прежде ее лица.

– Полагаю, тебе неизвестно, кто я, – сказала маска.

– Не имею понятия.

– Уже пять лет, как я супруга твоего друга, а родилась на Хиосе. Когда он взял меня в жены, мне было тринадцать лет.

Пораженный своевољством Юсуфа, дерзнувшего позволить мне вести беседы с его женой, я почувствовал себя непринужденнее и подумал было попытать счастья; но мне надобно было увидеть ее лицо. Когда видишь одно лишь прекрасное, скрытое одеждами тело, но не видишь головы, рождаются только те желания, что нетрудно утолить; огонь, возжигаемый им, подобен костру из соломы. Предо мною был прекрасный, изящный идол, но я не видел души его, ибо глаза таились за газовым покрывалом. Я видел обнаженные руки ее, ослепительной белизны и формы, и кисти, подобные Альцининым⁴⁰, *dove ne nodo appar ne vena eccede*⁴¹; я воображал себе все остальное, ту нежную поверхность форм, какую един-

⁴⁰ Рукам волшебницы Альцины, героини поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» (1532).

⁴¹ Где не проступало ни узелка, ни вены (*ит.*; Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь VII. Строфа 15).

ственно способны были скрыть мягкие складки муслина. Все это наверное было прекрасно, но мне хотелось прочесть в глазах ее душу, оживлявшую все, что мне угодно было себе представить. Восточные одежды являют жадному взору все, и более, ничего не скрывая, но, словно прекрасная глазурь на вазе саксонского фарфора, мешают на ощупь распознать, каковы краски цветов и фигур. Женщина эта одета была не как султанша, но наподобие хиосской Арканы⁴²: юбки открывали взгляду моему ее ноги до половины икры, и форму ляжек, и очертания высоких бедер, которые, сужаясь, превращались в восхитительно тонкую талию, стянутую широким синим кушаком с шитым серебром арабесками. Мне открывалась высокая грудь, и медленное, зачастую прерывистое волнение волшебного этого холмика показывало, что он живой. Меж небольших грудей пролегал узкий, округлый желобок: мне чудилось, что молочный этот ручеек назначен для того, чтобы я, впившись в него губами, утолил свою жажду.

Вне себя от восхищения, я движением почти произвольным протянул руку и, дерзкий, уже готов был откинуть ее вуаль, когда бы, выпрямившись во весь рост, она не оттолкнула меня и голосом столь же величественным, как и поза, не стала упрекать за дерзостное вероломство.

– Разве достоин ты дружбы Юсуфа, – говорила она, – ты, оскорбляющий супругу его и законы гостеприимства?

– Сударыня, вы должны простить меня: у нас на родине самый низкий из мужчин может взирать на лицо королевы.

– Но не срывать вуаль, коли случится ей надеть ее. Юсуф отомстит за меня.

Услыхав угрозу эту, я решил, что погиб, бросился к ногам ее и молил так, что она успокоилась, велела мне сесть обратно и уселась сама; она скрестила ноги, и на миг в беспорядочных складках юбки мелькнули мне прелести, зрелище которых, продлилось оно минутою дольше, вконец лишило бы меня рассудка. Тут я осознал свою ошибку и раскаялся – но было поздно.

– Ты весь пылаешь, – произнесла она.

– Как же мне не пылать, – отвечал я, – когда ты меня сжигаешь.

Умудренный опытом, забыл я думать о лице ее и совсем было завладел ее рукою, как она сказала: «Вот и Юсуф». Он входит, мы поднимаемся, он благословляет меня, я благодарю, рабыня-вышивальщица удаляется, он изъясняет признательность жене, составившей мне добрую компанию, и тут же подает руку, дабы препроводить ее в женские покои. В дверях она поднимает покрывало и, целуя супруга, как бы ненароком показывается мне в профиль. Я провожал ее взором до последней комнаты.

Вернувшись, Юсуф со смехом сказал, что супруга его пожелала с нами обедать.

– Я думал, что передо мной Зельми, – сказал я.

– Это было бы слишком противно нашим обычаям и нравам. Теперешний мой поступок – безделица; но не могу даже и представить, чтобы честный человек отважился усадить собственную дочь напротив чужестранца.

– Полагаю, твоя жена красива. Она красивее Зельми?

– Красота дочери моей весела, в ней запечатлелась нежность. Красота Софии отмечена гордостью. Она будет счастлива, когда я умру. Тот, кто возьмет ее в жены, найдет ее девственной.

Рассказывая о приключении моем г-ну де Бонвалю, я преувеличил опасность, которой подвергался, когда хотел откинуть покрывало.

⁴² Вероятно, имеется в виду рабыня-черкешенка, героиня трагикомедий Гольдони «Персидская невеста» (1753), «Гиркана в Джульфе» (1755), «Гиркана в Исфагане» (1756).

– Вовсе нет, – возразил тот. – Никакой опасности вы не подвергались; гречанка эта, решив посмеяться над вами, попросту разыграла трагикомическую сцену. Поверьте, она гневалась, что оказалась наедине с новичком. Вы разыграли с нею фарс на французский манер, а должны были действовать по-мужски. Что за нужда пришла вам глазеть на ее нос? Надо было добиваться главного. Будь я моложе, я, может статься, сумел бы отомстить за нее и наказать моего друга Юсуфа. Глядя на вас, она составила нелестное понятие об итальянцах. У самой скромной из турчанок стыд не простирается далее лица: стоит закрыть его, и она уже уверена, что краснеть не с чего. Уверен, эта Юсуфова жена закрывает лицо всякий раз, как ему приходит охота с ней побаловаться.

– Она девственна.

– Весьма сомнительно, я знаю хиосских женщин; они, однако, чрезвычайно искусно и без труда изображают невинность.

В другой раз Юсуф уже не догадался оказать мне подобную любезность. Спустя несколько дней мы повстречались с ним в лавке одного армянина; когда он вошел, я как раз присматривался к разным товарам, но, сочтя цену слишком высокой, решил уже ничего не покупать. Юсуф, взглянув на товары, представлявшие мне дорогими, похвалил мой вкус, но сказал, что цена отнюдь не высока, и, купив все это, удалился. Назавтра он с раннего утра отослал все мне в подарок; однако, чтобы не мог я отказаться, написал чудесное письмо, утверждая, что по прибытии на Корфу я узнаю, кому должен передать присланное. То были дамасские ткани с золотым и серебряным глянцем, кошель, бумажники, пояса, перевязи, носовые платки и трубки – все вместе обошлось в четыре или пять сотен пиастров. Я стал благодарить его, и он сознался, что сделал мне подарок.

Накануне отъезда прощался я с честным стариком и увидел на глазах его слезы; и сам плакал в ответ. Он сказал, что, отказавшись принять его дар, я снискал такое его уважение, что, как он чувствует, оно не могло бы стать глубже, когда б я даже этот дар принял. Взойдя на корабль вместе с г-ном балио Джованни Дона, я обнаружил подаренный Юсуфом ларь. В нем заключалось две сотни фунтов кофе мока, сто ливров конопляного табаку в листьях и еще два больших сосуда, полных один табаку «запанди», а другой табаку камуссадов. Сверх того – ясминный кальян с золотой филигранью, который продал я на Корфу за сто цехинов. Я не мог иначе изъяснить мою благодарность, нежели написав ему письмо с Корфу, где, продав его подарки, обрел целое состояние.

Исмаил снабдил меня письмом к кавалеру да Лецце, которое я потерял, и бочкою меду, которую я также продал, а г-н де Бонваль – письмом к кардиналу Аквавиве, каковое я переслал в Рим, вложив в свое собственное, где описал кардиналу свое путешествие; его высокопреосвященство, однако, ответом меня не удостоил. Еще г-н де Бонваль дал мне дюжину бутылок мальвазии из Рагузы и другую дюжину – настоящего вина со Скополо: оно большая редкость. На Корфу я поднес его в подарок с немалой пользой для себя, как мы увидим в своем месте.

Единственным чужеземным посланником, с которым я нередко встречался в Константинополе, был милорд Кит, маршал Шотландский, представлявший там прусского короля⁴³. Ко мне он выказывал исключительное благорасположение; знакомство это сослужило мне службу в Париже, шесть лет спустя. Мы еще поговорим о нем.

Мы пустились в путь в начале сентября⁴⁴ на том же военном корабле, на каком приплыли. В две недели прибыли мы на Корфу. Г-н балио не пожелал сойти на берег. С собою

⁴³ В 1745 г. Джордж Кит (или Кейт) останавливался в Константинополе по дороге из Петербурга в Венецию. На службу к Фридриху II он перешел в 1748 г., в 1751 г. назначен прусским послом в Париже.

⁴⁴ На календаре Казановы 1744 г., а балио Дона отправился обратно, как сказано выше, год спустя. Возможно, Казанова плыл не с ним.

он вез восьмерку превосходных турецких лошадей; двух из них я видел живыми в Гориции еще в 1773 году.

Едва успев сойти на берег с невеликой своей поклажей и довольно скверно устроиться, я отправился представляться г-ну Андреа Дольфину, генералу-проведитору, каковой, как и прежде, заверил, что после первого же смотра произведет меня в лейтенанты. Выйдя от генерала, направился я к г-ну Кампореze, моему капитану; штабные офицеры моего полка все были в отлучке.

Третий свой визит нанес я г-ну Д. Р., командующему галеасами⁴⁵ – к нему рекомендовал меня г-н Дольфин⁴⁶, с которым вместе мы прибыли на Корфу. Он немедля спросил, не желаю ли я вступить к нему на службу в адъютантском чине, и я, ни минуты не раздумывая, отвечал, что большего счастья мне и ненадобно и что он во всякое время может рассчитывать на полное мое повиновение и готовность исполнять его приказы. Он сразу же велел проводить меня в отведенную мне комнату, и уже назавтра я у него расположился. Капитан пожаловал меня французским солдатом, который прежде был цирюльником, – к большому моему удовольствию, ибо мне надобно было привыкать к французскому наречию. Солдат этот, пикардийский крестьянин, был повеса, пьяница и распутник и едва умел писать; но это меня не тревожило: довольно и того, что он умел говорить. Дуралей знал великое множество уличных песенок и забавных историй и всех ими веселил.

В четыре-пять дней, продав все полученные в Константинополе дары, я выручил почти пятьсот цехинов. Себе я оставил одно лишь вино. Вернув из лап жидов все то, что, проигравши, заложил перед отъездом в Константинополь, и все продав, я твердо решился не играть более как простофиля, но доставить себе все преимущества, какие разумный и смывленный молодой человек может извлечь для себя, не опасаясь прослыть жуликом. Но сейчас должно мне описать читателю Корфу и дать ему понятие о тамошней жизни. О местных примечательностях рассказывать не стану: всякий может познакомиться с ними сам.

В то время верховная власть на Корфу принадлежала генералу-проведитору, жившему там в ослепительной роскоши. Им был г-н Дольфин, мужчина лет семидесяти⁴⁷, суровый упрямец и невежда; потеряв интерес к женщинам, он, однако, любил, чтобы они во всем ему угождали. Всякий вечер собиралось у него общество, и ужины он задавал на двадцать четыре персоны.

Кроме него, было на Корфу трое высших офицеров гребного, иначе говоря, галерного флота и трое других, линейного флота – так называют парусные корабли. Гребной флот важней парусного. На каждой галере был свой капитан, именуемый *sopracomito*, всего их было десять; на каждом паруснике также имелся командир, и их тоже было десять, включая трех высших офицеров. Все командиры эти были венецианские дворяне. Еще десять благородных венецианцев от двадцати до двадцати пяти лет проходили на кораблях службу и изучали на острове морское ремесло. Сверх всех этих чинов находились на Корфу еще восемь или десять других венецианских дворян, что должны были содержать полицию и отправлять правосудие: их называли высшие сухопутные чины. Люди женатые имели удовольствие, коли жены их были недурны собою, принимать в своем доме воздыхателей, ищущих их благосклонности; но сильных страстей на Корфу не встречалось – в то время здесь было множество куртизанок, и азартные игры разрешены повсюду, а значит, любовная канитель не могла быть в ходу.

Среди прочих дам выделялась красотой и обходительностью г-жа Ф. Муж ее, командир галеры, прибыл вместе с нею на Корфу в прошедшем году. К удивлению всех высших

⁴⁵ *Галеас* – тяжелая трехмачтовая галера на 49 весел.

⁴⁶ *Г-н Дольфин* – Антонио Дольфин.

⁴⁷ Андреа Дольфину в 1745 г. было 57 лет.

морских чинов, она, зная, что в ее власти выбирать, отдала предпочтение г-ну Д. Р. и отослала всех, кто предлагал себя в *чичисбеи*. Г-н Ф. женился на ней в тот самый день, когда отплыл из Венеции на своей галере; в тот же день вышла она из монастыря, где находилась с семилетнего возраста. Ныне ей минуло семнадцать. В первый день пребывания моего у г-на Д. Р. я увидел ее перед собою за столом и был поражен. Мне почудилось, что я вижу нечто сверхъестественное; настолько превосходила она всех виденных мною прежде женщин, что я не боялся даже влюбиться. Я ощутил себя существом иной, нежели она, породы и столь низким, что никогда не сумел бы до нее достигнуть. Поначалу я решил, что между нею и г-ном Д. Р. нет ничего, кроме холодной притерпелой дружбы, и что г-н Ф. прав, не питая ревности. Впрочем, г-н Ф. был глуп необычайно. Вот каково было впечатление, что произвела на меня эта красавица, представ в первый день моему взору; однако оно не замедлило перемениться, притом весьма неожиданным для меня образом.

Адъютантский чин даровал мне честь обедать с нею – но и только. Другой адъютант, товарищ мой, такой же, как я, прапорщик, но отменный дурак, пользовался тою же честью; однако за столом нас не считали за равных с остальными. Никто не разговаривал с нами; на нас даже не глядели! Я не мог с этим смириться. Я знал, что причиной тому не сознательное пренебрежение, но все же находил положение свое весьма тягостным. Мне представлялось, что Сандзонио (так звали моего соседа) не на что жаловаться, ибо он был законченный олух; но чтобы так же обращались со мною – это было нестерпимо. Прошло восемь-десять дней, и г-жа Ф., ни разу не удостоившая меня взглядом, перестала мне нравиться. Я был задет, сердит и пребывал в тем большем нетерпении, что не мог предполагать в ее невнимании обдуманного намерения. Умысел с ее стороны был бы мне скорее приятен. Я убедился, что ровно ничего для нее не значу. Это было уже слишком. Я знал, что кое-чего стою, и намеревался довести это до ее сведения. Наконец представился случай, когда должна была она заговорить со мною, а для того взглянуть мне в лицо.

Г-н Д. Р., приметив прекрасного жареного индюка, что стоял передо мною, велел мне разрезать его, и я тотчас принялся за дело. Разрезав индюка на шестнадцать кусков, я понял, что исполнил работу дурно и нуждаюсь в снисхождении; однако г-жа Ф. не сдержала смеха и, взглянув на меня, произнесла, что коли я не был уверен в своем умении и знании правил, то нечего было и браться. Не зная, что отвечать, я покраснел, уселся на место и возненавидел ее. Однажды потребовалось ей в разговоре сказать мое имя: она спросила, как меня зовут, хотя жил я у г-на Д. Р. уже две недели, и ей подобало это знать; сверх того, я неизменно бывал удачлив в игре и стал уже знаменит. Деньги свои я отдал плац-майору Мароли, записному картежнику, что держал банк в кофейном доме. Войдя к нему в долю, я был при нем крупье – и он при мне, когда я метал, а случалось это нередко, ибо понтеры его не любили. Карты он держал так, что нагонял на всех страху, я же поступал прямо наоборот; мне всегда везло, и к тому же проигрывал я легко и со смехом, а выигрывал с убитою миной. Мароли и выиграл все деньги мои перед отъездом в Константинополь; по возвращении, увидев, что я решился более не играть, он счел меня достойным приобщиться мудрых правил, без которых гибнет всякий охотник до карточных игр. Впрочем, я не полагался всецело на честность Мароли и держался настороже. Всякую ночь, кончив талью, мы считались, и ларец оставался у казначея; разделив поровну выигранные наличные, мы отправлялись опорожнять свои кошельки по домам.

Я был счастлив в картах, здоров и любим товарищами моими, которым при случае всегда ссужал займы, и совсем был бы доволен своей участью, когда бы меня чуть более отличали за столом у г-на Д. Р. и чуть менее надменно обходилась со мною его дама, которой, казалось, нравилось по временам унижать меня без всякой на то причины. Я ненавидел ее и, размышляя над внушенным ею чувством, находил, что она мало того что несносна, но и глупа, ибо, говорил я про себя, обладая столь восхитительными достоинствами, стоило ей

захотеть, и она бы завладела моим сердцем, даже и не утруждаясь любовью ко мне. Ничего я не желал, как только чтобы она перестала принуждать меня ее ненавидеть. Поведение ее представлялось мне невероятным, ибо если и был в нем умысел, то из него не могло последовать никакой выгоды.

Тем менее мог я отнести его на счет кокетства, ибо никогда ни намеком не давал ей понять, что отдаю ей должное, либо на счет любовной страсти к кому-либо, кто внушил бы ей ко мне отвращение: даже и г-н Д. Р. не занимал ее внимания, а с мужем своим она обходилась как с пустым местом. Иными словами, юная эта женщина сделала меня несчастным; я злился на себя, полагая, что, когда бы не переполнявшая меня ненависть, перестал бы о ней и думать. К тому же, обнаружив в душе своей способность ненавидеть, я вознегодовал на себя: никогда прежде не подозревал я за собою жестоких наклонностей.

– Куда употребляете вы деньги? – вдруг спросила она однажды, когда кто-то отдавал мне после обеда проигранную под честное слово сумму.

– Храню их, сударыня, на случай будущих проигрышей, – отвечал я.

– Но если вы ни на что их не тратите, вам лучше не играть: вы только попусту теряете время.

– Время, отданное развлечению, нельзя назвать попусту истраченным. Есть лишь одно дурное прохождение времени – скука. От скуки молодой человек рискует влюбиться и навлечь на себя презрение.

– Быть может; однако, развлекаясь ролью казначея собственных денег, вы обнаруживаете скупость, а скупец не почтенней влюбленного. Отчего вы не купите себе перчатки?

Насмешники дружно разразились смехом, и я остался в дураках. Она была права. Долг адъютанта был провожать даму, отправившуюся домой, до портшеза или экипажа, и на Корфу вошло в моду поддерживать ее, левой рукой приподнимая подол платья, а правую положив ей под мышку. Без перчаток можно было потной рукой запачкать платье. Упрек в скупости пронзил мое сердце; я был убит. Утешаться, приписав слова ее недостатку воспитания, я не мог. В отместку я, не став покупать перчаток, решился всеми силами избегать ее, предоставив любезничать с нею пошляку Сандзонио с его гнилыми зубами, белобрысым париком, смуглой кожей и непрерывным сопением. Так я и жил, несчастный, в бешенстве оттого, что не могу избавиться от ненависти к этой юной особе, каковую, по здравому размышлению, не мог и равнодушно презирать, ибо, остынув, не видел за нею никакой вины. Все было просто: она не ненавидела меня и не любила, а из свойственного юности желания посмеяться, решив позабавиться, остановила выбор свой на мне, словно на какой-нибудь кукле. Мог ли я смириться с подобною участью? Я жаждал наказать ее, заставить каяться, измышлял жесточайшие способы мести. В числе их – влюбить ее в себя, а после обойтись, как с потаскухой; однако, обдумывая сей способ, я всякий раз с негодованием отбрасывал его: мне вряд ли достало бы отваги устоять перед силою ее прелестей и тем более, если случится, ее приветливостью. Но благодаря одной счастливой случайности положение мое совершенно переменилось.

Тотчас после обеда г-н Д. Р. отослал меня с письмами к г-ну де Кондильмеру, капитану галеасов. Я должен был ждать его распоряжений и прождал до полуночи, а потому, вернувшись и обнаружив, что г-н Д. Р. уже удалился к себе, отправился и сам спать. Наутро, когда он проснулся, я вошел к нему в комнату доложить об исполненном поручении. Минуту позже входит камердинер и вручает ему записку со словами, что адъютант г-жи Ф. ожидает у дверей ответа. Он выходит, г-н Д. Р. распечатывает и читает письмо, а прочтя, рвет его и в запальчивости швыряет на пол; после, пошагав по комнате, он пишет наконец ответ на записку, запечатывает, звонит, веля впустить адъютанта, и вручает ему письмо. Затем с выражением полного спокойствия дочитывает известия от капитана галеасов и велит мне переписать какое-то письмо. Он как раз читал его, когда вошел камердинер и сказал, что

г-жа Ф. желает со мною говорить. Г-н Д. Р. отвечал, что больше я ему не нужен, и разрешил отправиться к г-же Ф. и узнать, чего она хочет. Я удаляюсь, а он на прощание предупреждает, что мне следует помалкивать. Мне не было нужды в его предупреждениях. Не в силах угадать, для чего зовет меня г-жа Ф., я лечу к ней. Мне случалось бывать там и прежде, но по ее просьбе – никогда. Ждать пришлось не более минуты. Я вхожу и с удивлением вижу, что она сидит в постели, покрасневшая, пленительная, но с опухшими и покрасневшими глазами. Она, бесспорно, плакала. Сердце мое бешено колотилось, сам не знаю отчего.

– Садитесь сюда, в это креслице, – сказала она, – мне надобно с вами поговорить.

– Я недостойн подобной милости, сударыня, и выслушаю вас стоя.

Она не настаивала, памятуя, быть может, что прежде никогда не была со мною столь любезна и ни разу не принимала в постели. Собравшись несколько с духом, она продолжала:

– Муж мой проиграл вчера вечером банку, что в кофейне, двести цехинов под честное слово; он полагал, что деньги у меня и сегодня он их заплатит, но я распорядилась ими, а значит, должна их для него найти. Я подумала, не могли бы вы сказать Мароли, что получили от мужа его проигрыш. Вот кольцо, возьмите, а первого числа января я отдам вам двести дукатов и вы мне его вернете. Сейчас напишу и расписку.

– Что до расписки, пусть, но я отнюдь не желаю лишать вас кольца, сударыня. И еще скажу вам, что г-ну Ф. надобно идти самому либо послать к держателю банка человека, а деньги я вам отсчитаю через десять минут, когда вернусь.

С этими словами я, не дожидаясь ответа, вышел, возвратился в дом г-на Д. Р., положил в карман два свертка по сотне монет и отнес ей, а взамен сунул в карман расписку с обязательством уплатить деньги первого числа января.

Когда я повернулся уходить, она, взглянув на меня, сказала – это доподлинные ее слова:

– Знай я, в какой степени вы расположены оказать мне услугу, я, полагая, не решилась бы просить вас о подобном одолжении.

– Что ж, сударыня, на будущее знайте, что нет в мире мужчины, способного отказать вам в столь ничтожном одолжении, коль скоро вы сами об этом попросите.

– Слова ваши весьма лестны, но, надеюсь, более мне во всю жизнь не случится попасть в столь скверное положение, чтобы пришлось испытывать их правдивость.

Я ушел, размышляя над ее тонким ответом. Она, против моего ожидания, не сказала, что я ошибаюсь: это повредило бы ее репутации. Она знала, что я находился в комнате г-на Д. Р., когда адъютант принес ее записку, и, следственно, мне было прекрасно известно, что она просила двести цехинов и получила отказ; но мне ничего не сказала. Боже! Как я был рад! Я все понял. Я догадался, что она боялась уронить себя в моих глазах, и преисполнился обожания. Я убедился, что ей невозможно было любить г-на Д. Р., а он и подавно ее не любил; сердце мое наслаждалось этим открытием. В тот день я влюбился в нее без памяти и обрел надежду когда-нибудь завоевать ее сердце.

Едва оказавшись в своей комнате, я самыми черными чернилами замазал все, что написала г-жа Ф. в расписке, оставив лишь имя; затем запечатал письмо и отнес к нотариусу, с которого взял письменное обязательство хранить его и не выдавать никому, кроме г-жи Ф., по ее просьбе и в собственные руки. Вечером г-н Ф. явился в мой банк, заплатил долг, сыграл на наличные и выиграл три-четыре дюжины цехинов. Более всего в прелестной этой истории поразила меня неизменная любезность г-на Д. Р. в отношении г-жи Ф. и ее к нему, а также то, что, когда мы снова повстречались с ним дома, он не спросил, чего хотела от меня его дама; ее же отношение ко мне с той минуты совершенно переменилось. За столом, сидя напротив меня, она не упускала случая заговорить, и частенько вопросы ее понуждали меня с серьезным видом произносить всяческие забавные колкости. В те времена у меня был большой дар смешить, не смеясь самому, которому научился я у г-на Малипьеро, первого моего

наставника. «Если хочешь вызвать слезы, – говаривал он, – надобно плакать самому⁴⁸, но, желая насмешить, самому смеяться нельзя». Все поступки мои и слова в присутствии г-жи Ф. имели целью единственно ей понравиться; но я ни разу не взглянул на нее без причины и не давал наверное понять, что думаю лишь о том, как бы снискать ее расположение. Я хотел зародить в ней любопытство, желание, заподозрив истину, самой угадать мою тайну. Мне надобно было действовать неспешно, а времени было предостаточно. Пока же я, к радости своей, наблюдал, как благодаря деньгам и примерному поведению обретаю общее уважение, на которое, беря в расчет положение мое и возраст, не мог и надеяться и которое не снискал бы никаким талантом, кроме предпринятого мною ремесла.

Около середины ноября мой француз-солдат схватил воспаление легких. Я известил о том капитана Кампорезе, и тот немедленно отправил его в госпиталь. На четвертый день капитан сказал, что ему оттуда не воротиться и его уже причастили; под вечер, когда сидел я у него дома, явился священник, поручавший французову душу Богу, и сказал, что тот умер. Капитану он вручил небольшой пакет, завещанный ему покойным перед самою агонией с условием, что передан он будет лишь после смерти. В нем лежала латунная печать с гербом в герцогской мантии, метрическое свидетельство и листок бумаги, на котором я (капитан не знал по-французски) прочел такие слова, написанные дрянным почерком и с множеством ошибок:

«Разумею, что бумага сия, писанная мною и с собственноручной моей подписью, должна быть вручена капитану моему, лишь когда я умру окончательно и надлежащим образом; без того исповедник мой не сумеет найти ей никакого употребления, ибо доверена она ему лишь под священной тайной исповеди. Прошу капитана моего захоронить мое тело в склепе, откуда можно было бы его извлечь, буде пожелает того герцог, отец мой. А еще прошу отослать французскому посланнику, что в Венеции, мое метрическое свидетельство, печать с родовым гербом и выправленное по полной форме свидетельство о смерти, для того чтобы он переслал его отцу моему, г-ну герцогу; принадлежащее мне право первородства переходит к брату моему, принцу. В подтверждение чего руку приложил – Франциск VI, Шарль, Филипп, Луи Фуко, принц де Ларошфуко».

В метрическом свидетельстве, выданном церковью Св. Сульпиция, стояло то же имя; герцога-отца звали Франциск V, матерью была Габриель Дюплесси⁴⁹.

Закончив сие чтение, не мог я удержаться от громкого хохота; однако ж дуралей капитан, полагая насмешки мои неуместными, поспешил немедленно сообщить новость генералу-проведитору, и я удалился, направившись в кофейный дом и нимало не сомневаясь, что Его Превосходительство посмеется над ним, а редкостное чудачество отменно насмешит весь Корфу. В Риме, у кардинала Аквививы, я встречал аббата Лианкура, правнука Шарля, чья сестра Габриель Дюплесси была женою Франциска V: только было это в начале прошлого столетия. В канцелярии кардинала мне случилось переписывать одно дело, по которому аббат Лианкур должен был давать показания при Мадридском дворе и где шла речь о многих иных обстоятельствах, относящихся до рода Дюплесси. Впрочем, выдумка *Светлейшего* показалась мне столь же диковинной, сколь и несуразной, ибо самому ему, раз дело раскрывалось лишь после смерти, не было от нее никакого проку.

Получасом позже, только начал я распечатывать новую колоду, как является адъютант Сандзонио и серьезнейшим тоном сообщает важную новость. Пришел он от генерала и видел, как запыхавшийся Кампорезе передал Его Превосходительству печать и бумаги усопшего. Его Превосходительство тогда же повелел похоронить принца в особенном склепе

⁴⁸ Далее этот совет Казанова припишет Вольтеру, умение веселить не смеясь – Кребийону.

⁴⁹ Габриель Дюплесси. – Сыном Франсуа V де Ларошфуко и Габриель Дюплесси Лианкур был принц де Марсийак, с 1650 г. – герцог Франсуа VI де Ларошфуко (1613–1680), автор знаменитых «Максим». История с солдатом-самозванцем случилась в 1741 г.

и со всеми почестями, подобающими столь высокородной особе. Спустя другие полчаса явился г-н Минотто, адъютант генерала-проведитора, и передал, что Его Превосходительство желает говорить со мною. Закончив талью и отдав карты майору Мароли, отправляюсь я к генералу. Его Превосходительство нахожу я за столом в обществе первых дам и трех-четырех высших офицеров; здесь же г-жа Ф. и г-н Д. Р.

– Вот оно как, – произнес старый генерал. – Слуга ваш был принц.

– Никогда бы не подумал, монсеньор, и даже теперь не верю.

– Как! Он умер, находясь в здравом рассудке. Вы видели герб его, метрическое свидетельство, собственноручное его письмо. Когда человек при смерти, ему не приходит охоты шутить.

– Когда Ваше Превосходительство полагает все это правдой, почтение велит мне молчать.

– Что же это, если не правда? Удивляюсь, как можете вы сомневаться.

– Могу, монсеньор, ибо осведомлен о роде Ларошфуко, равно как и роде Дюплесси; к тому же я слишком хорошо знаком с означенным человеком. Сумасшедшим он не был, но чудачком и сумасбродом был. Я ни разу не видел, чтобы он писал, и сам он двадцать раз говорил мне, что никогда не учился грамоте.

– Письмо его доказывает обратное. На печати же его герцогская мантия: вам, быть может, неизвестно, что г-н де Ларошфуко – герцог и пэр Франции.

– Прошу меня простить, монсеньор, все это я знаю, и знаю больше того: Франциск VI был женат на девице де Вивонн.

– *Вы ничего не знаете.*

После этого мне оставалось лишь умолкнуть. Не без удовольствия приметил я, что все мужское общество пришло в восторг от обращенных ко мне убийственных слов: *Вы ничего не знаете*. Один из офицеров сказал, что усопший был красив, с виду благороден, весьма умен и умел вести себя столь осмотрительно, что никому и в голову не приходило, кто он на самом деле. Одна из дам заверила, что, будь она знакома с ним, непременно сумела бы его разоблачить. Другой льстивец объявил, что был он всегда весел, никогда не чванился перед товарищами своими и пел, как ангел.

– Ему минуло двадцать пять лет, – сказала, глядя на меня, г-жа Сагредо, – вы должны были заметить в нем все эти достоинства, если верно, что он ими обладал.

– Могу лишь, сударыня, описать его таким, каким он мне представлялся. Всегда весел, частенько дурачился, кувыркаясь и распевая нескромные куплеты, и держал в памяти поразительное множество простонародных сказок о колдовстве, чудесах, невероятных подвигах, противных здравому смыслу и потому смешных. Пороки же его таковы: он был пьяница, грязнуля, развратник, бранчливый и не совсем чистый на руку; но я терпел, для того что он хорошо меня причесывал и еще потому, что хотел научиться говорить по-французски и строить фразы, согласные с духом этого языка. Не раз он говорил, что родом из Пикардии, что сын крестьянина и дезертир. Уверял, что не умеет писать, но, быть может, обманывал меня.

Пока я говорил, вдруг является Кампореze и объявляет Его Превосходительству, что *Светлейший* еще дышит. Тут генерал, взглянув на меня, говорит, что, когда бы тот сумел одолеть болезнь, он был бы весьма рад.

– Также и я, монсеньор; однако ж духовник этой ночью наверное отправит его на тот свет.

– Зачем же, по-вашему, он станет это делать?

– Затем, чтобы не попасть на галеры, к которым приговорит его Ваше Превосходительство за нарушение тайны исповеди.

Раздался смех; старый генерал насупил черные брови. При разъезде провожал я г-жу Ф., идущую впереди под руку с г-ном Д. Р. к карете, и она, оборотясь, велела подняться в карету и мне, ибо накрапывал дождь. Она впервые оказывала мне столь великую честь.

– Я думаю то же, что и вы, – сказала она, – но вы донельзя рассердили генерала.

– Несчастье это неизбежно, сударыня: я не умею лукавить.

– Вы могли бы, – заметил г-н Д. Р., – избавить генерала от славной шутки про то, как духовник отправит на тот свет принца.

– Я полагал позабавить его, как, я видел, позабавил Ваше Превосходительство и вас, сударыня. *Того, кто умеет смешить, любят.*

– *Но тот, кто не умеет смеяться сам, не может его любить.*

– Готов поспорить на сотню цехинов, что безумец этот оправится и, раз генерал на его стороне, начнет пожинать плоды своей выдумки. Не терпится мне взглянуть, как его будут почитать за принца, а он станет увиваться за г-жой Сагредо.

При имени этой дамы г-жа Ф., которая весьма ее недолюбливала, расхохоталась как сумасшедшая; а г-н Д. Р., выходя из кареты, пригласил меня в дом. У него было в обычае всякий раз, как они ужинали вместе у генерала, проводить после полчаса у нее – наедине, ибо г-н Ф. не показывался никогда. Стало быть, парочка эта впервые допускала к себе третьего; в восторге от подобного отличия, я не сомневался, что оно не останется без последствий. Я принужден был скрывать свое довольство, однако это не помешало мне придавать комический оборот и веселость всякому разговору, какой только ни заводили г-н Д. Р. и г-жа Ф. Трио наше продолжалось четыре часа, и во дворец мы вернулись в два часа пополудни. В ту ночь они впервые узнали, каков я есть. Г-жа Ф. сказала г-ну Д. Р., что никогда еще так не смеялась и не могла даже подозревать, что простые слова бывают столь смешными.

Ясно было одно: потому, что смеялась она всем моим речам, я обнаружил в ней бездну ума, и за веселость ее так влюбился, что отправился спать в убеждении, что впредь уже не сумею изображать перед нею равнодушного.

Когда наутро я проснулся, новый мой солдат-слуга сообщил, что *Светлейшему* лучше, и госпитальный врач даже полагает жизнь его вне опасности. Зашел об этом разговор и за столом; я не промолвил ни слова. Еще через день ему, по приказанию генерала, отвели весьма чистое помещение и дали лакея; его одели, дали ему рубашек, а после того как генерал-проведитор по излишней милости сделал ему визит, примеру его последовали все высшие офицеры, не исключая и г-на Д. Р., – в большой мере из любопытства. К нему отправилась г-жа Сагредо, а за нею и все дамы; одна лишь г-жа Ф. не пожелала свести с ним знакомство и сказала со смехом, что пойдет лишь тогда, если я сделаю ей одолжение и ее представлю. Я просил уволить меня от этого. Его величали «высочеством», он звал г-жу Сагредо «своей принцессой». Г-н Д. Р. захотел уговорить и меня нанести ему визит, но я отвечал, что наговорил слишком много и не намерен теперь, набравшись храбрости либо низости, противоречить сам себе. Когда бы у кого-нибудь нашелся французский альманах из тех, что содержат генеалогии всех именитых родов Франции, обман бы немедля раскрылся; но ни у кого его не случилось, даже у самого французского консула, болвана первостатейного. Не прошло и недели после метаморфозы безумца, как он стал появляться в свете. Обедал и ужинал он у самого генерала, и всякий вечер бывал в обществе, но неизменно напивался пьян и засыпал. Невзирая на это, его по-прежнему почитали за принца: во-первых, для того, что он без всякой опаски ожидал ответа, который генерал, писавший в Венецию, должен был получить на свое письмо; во-вторых, для того, что он требовал от епископата примерно наказать священника, нарушившего тайну исповеди и разгласившего его секрет. Священник сидел уже в тюрьме, и не во власти генерала было защитить его. Все высшие офицеры приглашали самозванца на обед; один г-н Д. Р. все не решался это сделать, ибо г-жа Ф. без околичностей объявила, что в этом случае останется обедать дома. Я еще прежде

почтительно известил его, что в тот день, когда ему угодно будет пригласить принца, не смогу у него быть.

Однажды, выйдя из старой крепости, повстречал я его на мосту, что ведет к эспланаде. Став передо мною, он с благородным видом делает мне упрек, отчего я никогда не зайду его проведать, и немало меня смешит. Посмеявшись, я отвечаю, что ему не мешало бы подумать, как унести ноги прежде, нежели генерал получит ответ, узнает правду и учинит расправу, и вызываюсь помочь, сторговавшись с капитаном неаполитанского судна, что стояло под парусом, дабы тот спрятал его на борту. Вместо того чтобы принять мой дар, несчастный осыпает меня бранью.

Безумец этот ухаживал за г-жой Сагредо, каковая, гордясь, что французский принц признал превосходство ее над остальными дамами, обходилась с ним благосклонно. За обедом у г-на Д. Р., где собралось большое общество, она спросила, отчего я советовал принцу бежать.

– Он сам поведал мне о том, дивясь упорству, с каким вы почитаете его за обманщика, – сказала она.

– Я дал ему этот совет, сударыня, ибо у меня доброе сердце и здравый рассудок.

– Стало быть, все мы, не исключая и генерала, дураки?

– Подобный вывод был бы несправедлив, сударыня. Если чье-то мнение противно мнению другого, это отнюдь не означает, что кто-то из двоих дурак. Быть может, через восемьдесят дней я сочту, что заблуждался, – но от того не стану полагать себя глупей других. Однако же для дамы столь умной, как вы, не составит труда различить в этом человеке принца или крестьянина по манерам его и образованности. Хорошо ли он танцует?

– Он не умеет сделать шагу; но он презирает танцы и говорит, что не хотел им учиться.

– Учтив ли он за столом?

– Бесцеремонен; не желает, чтобы ему переменили тарелку; ест из общего блюда своею собственной ложкой; не умеет сдерживать отрыжку; зеваёт и встает первым, когда ему заблагорассудится. Ничего удивительного: он дурно воспитан.

– Но, несмотря на это, весьма обходителен – так мне кажется. Он чистоплотен?

– Отнюдь нет; но он еще не вполне обзавелся бельем.

– Говорят, он не пьет ни капли.

– Вы шутите; по два раза на дню встает из-за стола пьяным. Но здесь его нельзя не пожалеть: он не умеет пить, чтобы вино не бросилось ему в голову. Ругается, как гусар, и мы смеемся – но он никогда ни на что не обижается.

– Он умен?

– У него необыкновенная память: всякий день он рассказывает нам новые истории.

– Говорит ли о семье?

– Часто вспоминает мать – он нежно ее любит. Она из рода Дюплесси.

– Коли она еще жива, ей должно быть сейчас лет сто пятьдесят – четырьмя годами более или менее.

– Что за нелепость!

– Именно так, сударыня. Она вышла замуж во времена Марии Медичи.

– Однако ж имя ее значится в метрическом свидетельстве; но печать его... [пропуск в рукописи]

– Известно ли ему, что за герб у него на щите?

– Вы сомневаетесь?

– Думаю, он этого не знает.

Общество поднимается из-за стола. Минуту позже докладывают о приезде принца, в тот же миг он входит, и г-жа Сагредо, недолго думая, говорит:

– Дорогой принц, Казанова убежден, что вы не знаете своего герба.

Услыхав эти слова, он с усмешкою приступает ко мне, называет трусом и тыльной стороной руки дает мне пощечину, сбивши с головы моей парик. Удивленный, я медленно направляюсь к двери, беру по пути мою шляпу и трость и, спускаясь по лестнице, слышу, как г-н Д. Р. громким голосом велит выкинуть безумца в окно.

Выйдя из дома, направляюсь я поджидать его к эспланаде, но вижу, как он появляется с черного хода, и бегу по улице в уверенности, что не разминусь с ним. Приметив его, устремляюсь навстречу и начинаю лупить смертным боем, загнавши прежде в угол меж двумя стенами; вырваться оттуда он не мог, и ему ничего не оставалось, как вытащить шпагу – но ему это и в голову не пришло. Я бросил его, окровавленного, распростертым на земле, пересек окружавшую толпу зевак и отправился в Спилеа, дабы в кофейном доме разбавить лимонадом без сахара горечь во рту. Не прошло и пяти минут, как вокруг меня столпились все молодые офицеры гарнизона и стали в один голос твердить, что мне должно было убить его; наконец они мне надоели: я обошелся с ним так, что если он не умер, то не по моей вине; и быть может, обнажи он шпагу, я убил бы его.

Получасом спустя является адъютант генерала и от имени Его Превосходительства велит мне отправляться под арест на *Бастарду*. Так зовется главная галера; арестанта здесь заковывают в ножные кандалы, словно каторжника. Я отвечаю, что расслышал его, и он удаляется. Я выхожу из кофейни, но вместо того чтобы направиться к эспланаде, сворачиваю в конце улицы налево и шагаю к берегу моря. Иду с четверть часа и вижу привязанной пустую лодку с веслами; сажусь, отвязываю ее и гребу к большому шестивесельному *каик*у, что шел против ветра. Достигнув его, прошу *карабукири* ⁵⁰поднять парус и доставить меня на борт видневшегося вдали большого рыбацкого судна, что направлялось к скале *Видо*; лодку свою я бросаю. Хорошо заплатив за *каик*, поднимаюсь на судно и завожу с хозяином *торг*. Едва ударили мы по рукам, он ставит три паруса, свежий ветер наполняет их, и через два часа, по его словам, мы уже были в пятнадцати милях от Корфу. Ветер внезапно стих, и я велел грести против течения. К полуночи все сказали, что не могут рыбачить без ветра и выбились из сил. Они предложили мне отдохнуть до рассвета, но я не хочу спать. Плачу какую-то безделицу и велю переправить меня на берег, не спрашивая, где мы находимся, дабы не пробудить подозрений. Я знал одно: я в двадцати милях от Корфу и в таком месте, где никому не придет в голову меня искать. В лунном свете виднелась лишь церквушка, прилегающая к дому, длинный, открытый с двух концов сарай, а за ним луг шагов в сто шириною и горы. До зари пробыл я в сарае, растянувшись на соломе, и, несмотря на холод, довольно сносно выспался. То было первого числа декабря, и, невзирая на теплый климат, я заоченел без плаща в своем легком мундире.

Заслышав колокольный звон, я направляюсь в церковь. Поп с длинной бороδοю, удивившись моему появлению, спрашивает по-гречески, *ромео* ли я, то бишь грек; я отвечаю, что я *фрагико*, итальянец; не желая далее слушать, он оборачивается ко мне спиною, уходит в дом и запирает двери.

Я возвращаюсь к морю и вижу, как от тартаны, что стояла на якоре в сотне шагов от острова, отчаливает четырехвесельная лодка и, подплыв к берегу, оказывается с сидящими в ней людьми как раз там, где я стоял. Предо мною обходительный на вид грек, женщина и мальчик лет десяти-двенадцати. Я спрашиваю грека, откуда он и удачно ли было его путешествие; он по-итальянски отвечает, что плывет с женою своею и сыном с Цефалонии и направляется в Венецию; но прежде он хотел слушать мессу в церкви Пресвятой Девы в *Казоп*о, дабы узнать, жив ли его тесть и заплатит ли он приданое жены.

– Как же вы это узнаете?

– Узнаю от попа *Дельдимопуло*: он сообщит мне в точности оракул Пресвятой Девы.

⁵⁰ Карабукири – хозяин или капитан корабля (греч.).

Повесив голову, плетусь я за ним в церковь. Он говорит с попом и дает ему денег. Поп служит мессу, входит в *sancta sanctorum* ⁵¹ и, явившись оттуда четвертью часа позже, снова восходит на алтарь, оборачивается к нам, сосредоточивается, оправляет длинную свою бороду и возглашает десять-двенадцать слов оракула. Грек с Цефалонии – но на сей раз отнюдь не Одиссей – с довольным видом дает обманщику еще денег и уходит. Провожая его к лодке, я спрашиваю, доволен ли он оракулом.

– Очень. Теперь я знаю, что тесть мой жив и что приданое он заплатит, если я оставлю у него сына. Он всегда был страстно к нему привязан, и я оставлю ему мальчика.

– Этот поп – ваш знакомец?

– Он не знает даже, как меня зовут.

– Хороши ли товары на вашем корабле?

– Изрядны. Пожалуйте ко мне на завтрак и увидите все сами.

– Не откажусь.

В восторге от того, что на свете, оказывается, по-прежнему есть оракулы, и в уверенности, что пребудут они дотоле, доколе не переведутся греческие попы, я отправляюсь с этим славным человеком на борт его тартаны; он велит подать отличный завтрак. Из товаров он вез хлопок, ткани, виноград, именуемый коринкою, масла всякого рода и отменные вина. Еще у него были на продажу чулки, хлопковые колпаки, капоты в восточном духе, зонты и солдатские сухари, весьма мною любимые, ибо в те поры у меня было тридцать зубов, и как нельзя более красивых. Из тех тридцати ныне осталось у меня лишь два; двадцать восемь, равно как множество иных орудий, меня покинули; но – «*dum vita superest, bene est*» ⁵². Я купил всего понемногу, кроме хлопка, ибо не знал, что с ним делать, и, не торгуясь, заплатил те тридцать пять-сорок цехинов, что он запрашивал. Тогда он подарил мне шесть бочонков великолепной паюсной икры.

Я стал хвалить одно вино с Занте, которое называл он *генероидами*, и он отвечал, что, когда б мне было угодно составить ему компанию до Венеции, он бы каждый день давал мне бутылку его, даже и во все сорок дней поста. По-прежнему несколько суеверный, я усмотрел в приглашении этом глас Божий и уже готов был вмиг принять его – по самой нелепой причине: потому только, что странное это решение явилось без всякого размышления. Таков я был; но теперь, к несчастью, стал другим. Говорят, старость делает человека мудрым: не понимаю, как можно любить следствие, если причина его отвратительна.

Но в тот самый миг, когда я собрался было поймать его на слове, он предлагает мне за десять цехинов отличное ружье, уверяя, что на Корфу всякий даст за него двенадцать. При слове «Корфу» я решил, что снова слышу глас Божий и он велит мне возвратиться на остров. Я купил ружье, и доблестный мой цефалониец дал мне сверх условленного прелестный турецкий ягдташ, набитый свинцом и порохом. Пожелав ему доброго пути, я взял свое ружье в великолепном чехле, сложил все покупки свои в мешок и воротился на берег в твердой решимости поместиться у жулика попа, чего бы это ни стоило. Греково вино придало мне духу, и я должен был добиться своего. В карманах у меня лежали четыре-пять сотен медных венецианских монет; несмотря на тяжесть, мне пришлось запастись ими: нетрудно было предположить, что на острове Казопо⁵³ медь эта могла мне пригодиться.

Итак, сложив мешок свой под навес сарая, я с ружьем на плече направляюсь к дому попа. Церковь была закрыта. Но теперь мне надобно дать читателям моим верное понятие о тогдашнем моем состоянии. Я пребывал в спокойном отчаянии. В кошельке у меня

⁵¹ Святая святых (*лат.*).

⁵² Букв.: «Покуда длится жизнь, хорошо» (в пер. С. Ошерова: «Лишь бы жить, и отлично все!») – стих Мецената, цитируемый Сенекой в 101-м «Нравственном письме к Луцилию».

⁵³ Полуострове.

было три или четыре сотни цехинов, но я понимал, что вишу здесь на волоске, что мне нельзя находиться здесь долго, что вскорости все узнают, где я, а поскольку осудили меня заочно, то и обойдутся со мною по заслугам. *Я был бессилён принять решение: одного этого довольно, чтобы любое положение сделалось ужасным.* Когда бы я по своей воле возвратился на Корфу, меня бы сочли сумасшедшим; воротившись, я неизбежно предстал бы мальчишкой либо трусом, а дезертировать вовсе мне не хватало духу. Не тысяча цехинов, оставленная мною у казначея в большой кофейне, не пожитки мои, довольно богатые, и не страх оказаться в другом месте в нищете были главною причиной этой нравственной немощи – но г-жа Ф., которую я обожал и которой по сию пору не поцеловал даже руки. Пребывая в подобном унынии, мне ничего не оставалось, как отдаться самым насущным нуждам; а в ту минуту самым насущным было отыскать кров и пищу.

Я громко стучусь в священникову дверь. Он подходит к окну и, не дожидаясь, пока я скажу хоть слово, захлопывает его. Я стучусь в другой раз, бранюсь, бешусь, никто не отвечает, и в гневе я разряжаю ружье в голову барана, что щипал среди других травку в двадцати шагах от меня. Пастух кричит, поп мчится к окну с воплем «держи вора», и в тот же миг гремит набат. Бьют в три колокола сразу, и я, предполагая столпотворение и не ведая, каков будет его конец, перезаряжаю ружье.

Минут через восемь-десять я вижу, как с горы катится толпа крестьян с ружьями, либо с вилами, либо с длинными пиками. Я ухожу под навес, но не из страха, ибо не считаю в порядке вещей, чтобы люди эти стали убивать меня, одного, даже не выслушав.

Первыми подбежали десять-двенадцать юношей, держа ружья наперевес. Я швыряю им под ноги пригоршню медных монет, они в удивлении останавливаются, подбирают их, и я продолжаю кидать монеты другим прибывающим взводам; наконец денег у меня не остается, и ко мне больше никто не бежит. Все мужичье застыло в ошеломлении, не понимая, что делать с молодым человеком, мирным на вид и разбрасывающим просто так свое добро. Я не мог говорить прежде, нежели замолкли оглушительные колокола; но пастух, поп и церковный сторож перебили меня – тем более что говорил я по-итальянски. Все трое разом обратились они к черни. Я уселся на свой мешок и сидел спокойно.

Один из крестьян, пожилой и разумный на вид, подходит ко мне и по-итальянски спрашивает, зачем убил я барана.

– Затем, чтобы заплатить за него и съесть.

– Но *Его Святейшество* волен запросить за него цехин.

– Вот ему цехин.

Поп берет деньги, удаляется, и ссоре конец. Крестьянин, что говорил со мною, рассказывает, что служил в войну 16-го года и защищал Корфу. Похвалив его, я прошу найти мне удобное жилище и хорошего слугу, который мог бы мне готовить еду. Он отвечает, что у меня будет целый дом и что он сам станет стряпать, только надобно подняться в гору. Я соглашаюсь; мы поднимаемся, а за нами два дюжих парня несут один мой мешок, другой барана. Я говорю тому человеку, что желал бы иметь у себя на военной службе две дюжины парней, таких, как эти двое; им я стану платить по двадцать монет в день, а ему, как поручику, по сорок. Он отвечает, что я в нем не ошибся и что я буду доволен своей гвардией.

Мы входим в весьма удобный дом; у меня был первый этаж, три комнаты, кухня и длинная конюшня, которую я немедленно превратил в караульню. Оставив меня, крестьянин отправился за всем, что мне было необходимо, и прежде всего искать женщину, которая бы сшила мне рубашек. В тот же день было у меня все: кровать, обстановка, добрый обед, кухонная утварь, двадцать четыре парня, всяк со своим ружьем, и старая-престарая портниха с молоденькими девушками-подмастерьями, дабы кроить и шить рубашки. После ужина пришел я в наилучшее расположение духа: вокруг меня собралось тридцать человек, что обходились со мною как с государем и не могли понять, что понадобилось мне на их острове. Одно лишь

мне не нравилось – девицы не понимали по-итальянски, а я слишком дурно знал по-гречески, чтобы питать надежду просветить их своими речами.

Лишь наутро предстала мне моя гвардия под ружьем. Боже! Как я смеялся! Славные мои солдаты все как один были *паликари* ⁵⁴; но рота солдат без мундиров и строя уморительна. Хуже стада баранов. Однако ж они научились отдавать честь ружьем и повиноваться приказам командиров. Я выставил трех часовых: одного у караульни, другого у своей комнаты и третьего у подножья горы, откуда видно было побережье. Он должен был предупредить, если появится на море вооруженный корабль. В первые два-три дня я полагал все это шуткой; но поняв, что, может статься, принужден буду применить силу, защищаясь от другой силы, шутить перестал. Я подумал, не привести ли солдат к присяге на верность, но все не мог решиться. Поручик мой заверил, что это в моей власти. Щедрость доставила мне любовь всего острова. Кухарка моя, что нашла мне белошвеек шить рубашки, надеялась, что в какую-нибудь я влюблюсь – но не во всех разом; я превзошел ее ожидания, и она позволяла мне насладиться всякой, что мне нравилась; в долгу я не оставался. Жизнь я вел воистину счастливую, ибо и стол у меня был не менее изысканный. Подавали мне упитанных барашков да бекасов, подобных которым пришлось мне отведать лишь двадцатью двумя годами позже, в Петербурге. Пил я только вино со Скополо и лучшие мускаты со всех островов архипелага. Единственным сотрапезником моим был поручик. Никогда не выходил я на прогулку без него и без двух своих паликари, что шли за мною для защиты от нескольких сердитых юношей, воображавших, будто из-за меня их оставили возлюбленные, белошвейки. Я рассудил, что без денег мне пришлось бы худо; но без денег я, быть может, и не отважился бы бежать с Корфу.

Прошла неделя, и вот однажды за ужином, часа за три до полуночи, послышался от караульни голос часового – *Piosineafti* ⁵⁵. Поручик мой выходит и, вернувшись через минуту, сообщает, что некий добрый человек, говорящий по-итальянски, хочет поведать мне нечто важное. Я велю ввести его, и в присутствии поручика он, к изумлению моему, произносит с печальным видом такие слова:

– Послезавтра, в воскресенье, святейший поп Дельдимопуло возгласит вам *катарамонахию*. Если вы не помешаете ему, долгая лихорадка в полтора месяца сведет вас в мир иной.

– Никогда не слыхал о таком снадобье.

– Это не снадобье. Это проклятие, оглашенное со святыми дарами в руках; такова его сила.

– Что за нужда у священника убивать меня подобным образом?

– Вы нарушаете мир и порядок в его приходе. Вы завладели множеством девушек, и бывшие возлюбленные не желают брать их в жены.

Велев поднести ему вина и поблагодарив, я пожелал ему доброй ночи. Дело представилось мне серьезным: я не верил ни в какие *катарамонахии*, но нимало не сомневался в силе ядов. Назавтра, в субботу, не сказавшись поручику, я на заре отправился один в церковь и, застав попа врасплох, произнес:

– При первом же приступе лихорадки, какой со мною случится, я разможжу вам голову. Стало быть, выбирайте: либо проклятие ваше подействует в один день, либо пишите завещание. Прощайте.

Предупредивши его таким образом, я возвратился в свой дворец. В понедельник с самого раннего утра он явился отдать визит. У меня болела голова. Он спросил, как мое здоровье, и я сказал ему об этом; немало меня насмешив, он пустился заверять, что виноват во всем тяжелый воздух острова Казопо.

⁵⁴ Паликари – brave парни (греч.).

⁵⁵ Кто идет? (Новогреч.)

Прошло три дня после посещения его; я как раз собирался сесть за стол, но вдруг часовой на передней линии, которому видно было море, подает сигнал тревоги. Поручик мой выходит и, возвратившись четырьмя минутами позже, объявляет, что сейчас причалила к острову вооруженная фелюка и спустился на берег офицер. Поставив войско свое под ружье, я выхожу и вижу, как поднимается в гору, направляясь к моим квартирам, офицер в сопровождении крестьянина. Поля его шляпы были опущены; он старательно раздвигал тростью кусты, мешавшие пройти. Он был один – следственно, мне нечего было бояться; я вхожу в свою комнату и велю поручику отдать ему воинские почести и ввести в дом. Надев шпагу, я стоя поджидаю его.

Предо мною все тот же адъютант *Миотто*, который передавал мне приказ отправляться на Бастарду.

– Вы один, – говорю я, – и значит, пришли ко мне как друг. Позвольте обнять вас.

– Мне ничего не остается, как прийти по-дружески; для врага у меня неостало бы сил одержать победу. Но не сон ли все, что я вижу?

– Садитесь и отобедаем вместе. Стол будет хорош.

– С удовольствием. А после обеда вместе уедем отсюда.

– Уедете вы один, коли пожелаете. Я же уеду, лишь будучи уверен, что не только не попаду под арест, но и получу удовлетворение. Генерал должен отправить этого полоумного на галеры.

– Будьте благоразумны; лучше вам будет ехать со мною по своей воле. Мне приказано препроводить вас силой, но сил у меня не хватит; довольно будет моего рапорта, и за вами пришлют столько людей, что вам придется сдаться.

– Никогда я не сдамся, дорогой друг; живым меня не взять.

– Но вы с ума сошли – ведь вы не правы. Вы ослушались приказа отправляться на Бастарду, который я вам принес. Только в этом ваша вина, ибо в остальном вы тысячу раз правы. Сам генерал так сказал.

– Стало быть, я должен был идти под арест?

– Без сомнения. Повиноваться – наш первый долг.

– Значит, на моем месте вы бы подчинились?

– Не могу знать; знаю только, что когда б не подчинился, то совершил бы проступок.

– Следственно, если сейчас я сдамся, вина моя будет много больше и обойдутся со мною хуже, нежели если б я не ослушался несправедливого приказа?

– Не думаю. Едем, и вы все узнаете.

– Вы хотите, чтоб я ехал, не зная наперед своей участи? Не дожидайтесь даром. Лучше будем обедать. Коли уж я такой преступник, что ко мне применяют силу, я сдамся силе; виновней мне уже не быть, хоть и будет пролита кровь.

– Напротив, вина ваша возрастет. Будем обедать. Быть может, добрая еда придаст вам рассудительности.

К концу обеда доносится до нас шум. Поручик говорит, что к дому моему стекаются толпы крестьян, привлеченные слухом, будто фелюка пришла с Корфу единственно затем, чтобы увезти меня, и готовые действовать по моему приказанию. Я велел ему разубедить этих славных храбрецов и, выставив им бочонок *кавалльского* вина, отослать по домам.

Расходясь, они разрядили в воздух ружья. Адъютант, улыбаясь, сказал, что все это весьма мило; но если ему придется уехать на Корфу без меня, это, напротив, будет выглядеть ужасно, ибо он будет принужден представить весьма подробный рапорт.

– Я поеду с вами, если вы дадите мне слово чести, что я сойду на Корфу как свободный человек.

– У меня приказ доставить вас к г-ну Фоскари на Бастарду.

– На сей раз вы не исполните приказа.

– Для генерала дело чести заставить вас повиноваться, и, поверьте, он найдет способ это сделать. Но скажите на милость, что станете вы делать, если генерал забавы ради решится оставить вас здесь? Однако здесь вас не оставят. Я представлю рапорт, и дело решится без кровопролития.

– Нелегко будет это сделать, не учинив бойни. С пятью сотнями здешних крестьян мне не страшны и три тысячи человек.

– Человека найдут одного, а с вами обойдутся как с главарем бунтовщиков. Все эти преданные вам люди не в силах защитить вас от одного-единственного, который за плату продырявит вам череп. Скажу больше. Из всех этих греков, что окружают вас, не найдется ни одного, кто бы не согласился вас убить и заработать двадцать цехинов. Поверьте мне, и едем со мною. На Корфу вас ожидает в некотором роде триумф. Вам станут рукоплескать, вас будут чествовать; вы расскажете сами, какое безумство совершили, и все посмеются, но в то же время и восхитятся тем, что немедля по приезде моем вы подались на доводы здравого смысла. Все почитают вас. Г-н Д. Р. проникся к вам великим уважением за мужество, с каким вы не стали дырявить насквозь этого безумца, дабы не оказаться непочтительным к хозяину дома. Да и сам генерал должен ценить вас, ибо вряд ли позабыл, что вы ему говорили.

– А какова судьба этого несчастного?

– Тому четыре дня, как фрегат майора Сордина привез депеши, и генерал, судя по всему, получил достаточные разъяснения, чтобы поступить так, как он поступил. Безумец исчез. Никто не знает, что с ним случилось, и никто более не решается говорить о нем у генерала, ибо промах его слишком очевиден.

– Но бывал ли он еще в обществе после того, как я поколотил его тростью?

– Фи! Разве вы забыли, что он был при шпаге? Большого и не требовалось: никто не пожелал впредь его видеть. У него, как оказалось, сломано было предплечье и раздроблена челюсть; но уже через неделю Его Превосходительство изгнал его, невзирая на плачевное состояние. Единственно, чему дивились на Корфу, – это вашему бегству. Три дня кряду полагали, что г-н Д. Р. укрывает вас у себя, и открыто порицали его, пока наконец он не объявил во всеуслышанье за столом у генерала, что не знает, где вы находитесь. Сам Его Превосходительство был весьма опечален вашим бегством вплоть до вчерашнего полудня, когда все открылось. Протопоп Булгари получил от здешнего попа письмо, в котором тот жалуется, что некий офицер-итальянец вот уже десять дней как завладел островом и чинит на нем насилие. Он обвиняет вас в том, что вы совратили здесь всех девиц и грозились убить его, если он возгласит вам *катарамонахию* ⁵⁶. Письмо это читано было в обществе, и генерал смеялся, однако ж велел мне сегодня утром взять дюжину гренадеров и отправляться за вами.

– Всею виною г-жа Сагредо.

– Верно; и она совсем убита. Нам с вами было бы недурно нанести ей завтра же утром визит.

– Завтра? Вы уверены, что я не окажусь под стражей?

– Да, уверен, ибо знаю, что Его Превосходительство – человек чести.

– Я тоже. Позвольте обнять вас. Мы отправимся отсюда вместе, когда минет полночь.

– Но отчего не раньше?

– Оттого, что иначе мне грозит опасность провести ночь на Бастарде. Я хочу прибыть на Корфу при свете дня: тогда торжество ваше будет блистательно.

– Но что мы станем тут делать еще восемь часов?

– Прежде пойдем к девицам – на Корфу таких лакомых нет; а после славно поужинаем.

Я велел поручику своему распорядиться насчет еды для солдат, что находились на фелюке, и подать нам самый лучший и обильный ужин, ибо в полночь я хочу ехать. Подарив

⁵⁶ *Катарамонахия* – анафема (греч.).

ему все свои богатые припасы, я отослал на фелюку все, что желал оставить себе. Двадцать четыре моих солдата, получивши от меня вперед недельное жалованье, изъявили готовность под командою поручика сопровождать меня на фелюку, отчего Минотто смеялся во всю ночь до упаду. В восемь часов утра мы прибыли на Корфу и причалили прямо к Бастарде, на которую и препроводил меня Минотто, заверив, что немедля отправит пожитки мои к г-ну Д. Р. и отправится с рапортом к генералу.

Г-н Фоскари, что командовал галерой, встретил меня как нельзя хуже. Будь в душе его хотя немного благородства, он бы не стал с такою торопливостью сажать меня на цепь; стоило ему подождать всего лишь четверть часа и поговорить со мною, и я бы не подвергся подобному оскорблению. Не сказав мне ни единого слова, он отправил меня к начальнику гавани, каковой велел мне садиться и протянуть ногу, дабы заковать ее: в тех местах, впрочем, кандалы не почитаются бесчестьем, к несчастью, даже для каторжников на галерах, которых уважают более солдат.

Правая моя нога была уже в цепях, а с левой снимали башмак, дабы заковать и ее, но тут явился к г-ну Фоскари адъютант от Его Превосходительства с приказанием вернуть мне шпагу и отпустить на свободу. Я просил позволения изъять свое почтение благородному губернатору острова; но адъютант его сказал, что в том нет нужды.

Я немедля отправился к генералу и, не говоря ни слова, отвесил ему глубокий поклон. Он с важным видом велел мне быть впредь умнее и затвердить, что первейший долг мой на избранном поприще – повиноваться; а главное – быть *благоразумным* и *скромным*. Я понял смысл двух этих слов и сделал надлежащие выводы.

Явившись к г-ну Д. Р., увидел я радость на всех лицах. Приятные минуты всегда приносили мне вознаграждение за все, что случалось мне перенести дурного – настолько, что начинал я любить и самую их причину. *Невозможно почувствовать должным образом удовольствие, коли не предваряли его какие-либо тяготы, и величина удовольствия зависит от величины перенесенных тягот.* Г-н Д. Р. на радостях даже расцеловал меня. Подарив мне прелестное кольцо, он сказал, что я поступил совершенно правильно, не открывши никому, и в особенности ему самому, своего укрытия.

– Вы не поверите, как беспокоится о вас г-жа Ф., – продолжал он с видом достойным и искренним. – Вы доставите ей чувствительное удовольствие, отправившись к ней теперь же.

С каким наслаждением выслушал я сей совет из собственных его уст! Однако слова «теперь же» огорчили меня: ночь я провел на фелюке и, как мне казалось, видом своим мог ее напугать. Но должно было идти, объяснить ей причину моего вида и даже обратиться к себе в заслугу.

Итак, я отправляюсь к ней; она еще спала, но горничная проводила меня в ее покои и заверила, что госпожа вот-вот позвонит и счастлива будет узнать о моем приходе. В те полчаса, что провел я с этой девицею, она пересказала великое множество разговоров о поступке моем и бегстве, какие велись меж господами. Все сказанное ею доставило мне лишь величайшее удовольствие, ибо, как я убедился, все без изъятия одобряли мое поведение.

Горничная вошла к хозяйке и минутою позже позвала меня. Она раздвинула полог, и взору моему, казалось, предстала Аврора в россыпи роз, лилий и нарциссов. Прежде всего я сказал, что когда бы не приказ г-на Д. Р., я бы никогда не посмел предстать перед нею в подобном виде, и она отвечала, что г-ну Д. Р. известно, какой интерес питает она к моей особе, и что сам он уважает меня не менее, нежели она.

– Не знаю, сударыня, чем заслужил я столь великое счастье; самое большее, о чем я мечтал, – это о простом снисхождении.

– Все мы восхищались тем, что вы нашли в себе силы сдержаться и не проткнуть шпагою того безумца; его бы выкинули в окно, когда б он не спасся бегством.

– Не сомневайтесь, сударыня, когда б не ваше присутствие, я бы убил его.

– Вы, вне сомнения, весьма любезны; однако нельзя поверить, будто в тот досадный миг вы подумали обо мне.

При словах этих я опустил глаза и отвернулся. Приметив кольцо и узнав, что подарил мне его г-н Д. Р., она похвалила его и захотела услышать, как жил я после своего бегства, во всех подробностях. Я рассказал ей все в точности, обойдя лишь такой предмет, как девицы: ей он бы наверное не понравился, а мне не сделал чести. В житейских отношениях всегда следует знать, где положить предел доверительности. Правда, о какой надобно молчать, много обширнее, нежели та благовидная правда, какую можно рассказать вслух.

Посмеявшись, г-жа Ф. почла поведение мое совершенно удивительным и спросила, отважусь ли я повторить дословно свой прелестный рассказ генералу-проведитору. Я обещал ей сделать это, если сам генерал попросит меня, и она велела мне быть наготове.

– Мне хочется, чтобы он полюбил вас и стал главным вашим покровителем, дабы ограждать вас от несправедливостей, – сказала она. – Доверьтесь мне.

Я отправился к майору Мароли осведомиться, как обстоят дела в нашем банке; приятно было узнать, что, едва я исчез, он исключил меня из доли. Я забрал принадлежавшие мне четыреста цехинов, оговорив, что, смотря по обстоятельствам, могу войти в долю снова.

Наконец, под вечер, принарядившись, отправился я за Минотто, дабы вместе идти с визитом к г-же Сагредо. Она пользовалась благосклонностью генерала и, исключая г-жу Ф., была самой красивой из венецианских дам, какие находились на Корфу. Меня не ждала она увидеть, ибо была причиною происшествия, заставившего меня удрать, и полагала, что я на нее в обиде. Я поговорил с нею откровенно и разубедил ее. Она обошлась со мною как нельзя более учтиво и просила даже заходить к ней иногда по вечерам. Я склонил голову, не приняв, но и не отвергнув приглашения. Как мог я идти к ней, зная, что г-жа Ф. ее не переносит! Помимо прочего, дама эта любила карты, но нравились ей лишь те партнеры, что проигрывали, позволяя выигрывать ей. Минотто в карты не играл, но заслужил расположение ее своей ролью Меркурия.

Воротившись домой, я застал во дворце г-жу Ф. в одиночестве: г-н Д. Р. занят был каким-то письмом. Она пригласила меня рассказать ей обо всем, что приключилось со мною в Константинополе, и я не раскаялся, что уступил. Встреча моя с женою Юсуфа увлекла ее беспредельно, а ночь, проведенная с Исмаилом, когда наблюдали мы за купанием его любовниц, воспламенила ее столь сильно, что в ней, я видел, проснулась страсть. Я, сколько мог, говорил обиняками; но она то находила слова мои слишком туманными и требовала, чтобы я изъяснялся понятнее, то, когда я наконец объяснялся, выговаривала мне, что я выражаюсь чересчур ясно. Я нимало не сомневался, что подобным путем сумею вызвать в душе ее благосклонность. Тот, кто умеет зарождать желания, может быть легко принужден утолять их: такого-то вознаграждения я и жаждал, и не терял надежды, хотя пока различал его еще весьма смутно.

В тот день случилось так, что г-н Д. Р. пригласил к ужину большое общество, и мне, само собою, пришлось потрудиться, повествуя во всех подробностях и обстоятельствах обо всем, что случилось со мною после того, как получил я приказ отправляться под арест на Бастарду, – командир которой г-н Фоскари сидел со мною рядом. Рассказ мой всем понравился, и было решено, что генерал-проведитор должен также получить удовольствие и услышать его из моих уст. Я сказал, что на Казопо много сена, какового на Корфу не было совершенно; и г-н Д. Р. посоветовал мне не упускать случая и отличиться, немедленно известив об этом генерала: что я наутро и сделал. Его Превосходительство не мешкая велел послать туда с каждой галеры достаточное число каторжников, дабы скосить сено и перевезти на Корфу.

Тремя или четырьмя днями позже адъютант Минотто отыскал меня на закате в кофейном доме и передал, что генерал желает со мною говорить. Я тотчас же явился⁵⁷.



⁵⁷ Далее Казанова по всем правилам усиленно ухаживает за г-жой Ф. (Адрианой Фоскарини), добивается почти всего, но тут некстати подхватывает гонорею. Он возвращается в Венецию, подает в отставку и нанимается скрипачом в театр.

1750. Париж Мне 25 лет Том III⁵⁸

Глава VII⁵⁹

Остановка в Ферраре и забавное приключение, случившееся там со мною. Приезд мой в Париж в 1750 году

В полдень схожу я с пеоты⁶⁰ у Моста *Темного озера* и беру коляску, дабы быстрее добраться до Феррары и там пообедать. Останавливаюсь у трактира св. Марка⁶¹ и вслед за лакеем поднимаюсь наверх в отведенную мне комнату. Привлеченный веселым шумом, который доносился из открытых дверей одной залы, любопытствую я взглянуть, что там такое. Преду мною стол, а за ним десять-двенадцать человек – ничего особенного; я пошел было своей дорогой, как вдруг слова: «*Вот и он!*» останавливают меня, красивая женщина поднимается и бежит ко мне с распахнутыми объятиями, целует и говорит:

– *Живо прибор для дорогого моего кузена, и пусть чемодан его отнесут вон в ту комнату, рядом с этой.*

Ко мне направляется молодой человек, и она произносит:

– *Не обещала ли я вам, что он приедет сегодня или завтра?*

Она усаживает меня рядом с собою, и все остальные, что встали приветствовать меня, рассаживаются по своим местам.

– Вы, наверное, изрядно проголодались, – говорит она, наступая мне на ногу. – Позвольте представить вам моего нареченного, а это свекор мой и свекровь. Дамы эти и господа – друзья дома. Отчего случилось, что матушка не приехала с вами?

Наконец пришел и мне черед что-то сказать.

– Матушка ваша, дорогая кузина, будет здесь через три или четыре дня.

Приглядевшись внимательней к обманщице, узнаю я Каттинеллу, знаменитую танцовщицу, с которой прежде не перемолвился и словом. Я понимаю, что в сочиненной ею пьесе она велит мне играть роль персонажа, удобного и необходимого, чтобы достигнуть развязки. Желая узнать, наделен ли я и в самом деле талантом, каковой она во мне предположила, и в уверенности, что получу от нее в награду любые милости, я с радостью повинуюсь. Искусство мое заключалось в том, чтобы, играя роль, ничем себя не выдать. Сославшись на голод, я, пока ел, дал ей время посвятить меня в свои замыслы. Она показала изрядный ум, объясняя завязку сюжета в разговорах то с одним, то с другим из присутствующих. Я уяснил, что свадьба ее не могла состояться прежде, нежели приедет ее мать и привезет платья и бриллианты, и что сам я – *маэстро* и направляюсь в Турин сочинять оперу по случаю бракосочетания герцога Савойского⁶². Нимало не сомневаясь, что ей не удастся помешать мне завтра уехать, я понял, что, играя сего персонажа, не подвергаюсь никакой опасности. Когда

⁵⁸ Перевод И. Стаф.

⁵⁹ Существуют два авторских варианта глав 7-12 третьего тома.

⁶⁰ *Пеота* – легкая крытая гондола. Казанова выехал из Венеции 1 июня 1750 г.

⁶¹ По мнению А. Дзотолли, при рассказе о приключении в трактире Казанова использовал эпизод из романа А. Лесажа «Жиль Блас» (1735, кн. 7, гл. 6).

⁶² Герцог Савойский Виктор Амадей женился на инфанте Марии Антонии 31 мая 1750 г.

бы не ночное вознаграждение, что я предвкушал, я объявил бы ее при всех сумасшедшей. Каттинелле на вид можно было дать около тридцати лет; она была мила собою и славилась своими каверзами.

Дама, что сидела напротив меня и которую Каттинелла назвала свекровью, налила мне стакан вина и, когда я протянул руку взять его, заметила, что кисть у меня как будто покалечена.

– Что это с вами? – спросила она.

– Небольшое растяжение, скоро пройдет.

Каттинелла, расхохотавшись, сказала, что это весьма досадно, ибо теперь никто и не узнает, как я играю на клавишине.

– Странно, что вам это показалось смешно.

– Я смеюсь оттого, что вспомнила, как два года назад нарочно подвернула ногу, чтобы не танцевать.

После кофе свекровь сказала, что синьорине Каттинелле, верно, надобно обсудить со мною семейные дела и не стоит нам мешать; и вот наконец остался я наедине с этой интриганкой в комнате, что она мне предназначила, по соседству со своею собственной.

Она упала на канапе, не в силах более удерживать смех. Потом сказала, что не сомневалась во мне, хотя знала меня только в лицо и по имени, и наконец предупредила, что лучше всего мне будет уехать отсюда завтра же.

– Вот уже два месяца, – продолжала она, – как я нахожусь здесь без единого сольдо; все, что у меня есть, – это несколько платьев да немного белья, и мне пришлось бы все продать, когда б я не сумела влюбить в себя хозяйского сына и пообещать ему выйти за него замуж с приданым в бриллиантах на двадцать тысяч экю, каковые якобы должна мне привезти матушка из Венеции. У матушки моей ничего нет, о проделке этой она ничего не знает и никуда из Венеции не поедет.

– Прошу тебя, скажи, какова же будет развязка этого фарса; мне видится она трагической.

– Ты ошибаешься. Она будет комической, и весьма. Я ожидаю сюда любовника своего, графа Голштейна, брата майнцского курфюрста. Он отписал мне из Франкфурта, выехал оттуда и нынче должен быть в Венеции. Он заедет за мною и отвезет на ярмарку в Реджо. Коли суженый мой вздумает дурно себя вести, он, без сомнения, поколотит его, но оплатит расходы на мое содержание; но я не желаю ни чтобы граф ему платил, ни чтобы колотил его. Уезжая, я шепну ему на ушко, что непременно вернусь и немедля по возвращении выйду за него замуж, и все обойдется.

– Чудесно; ты умна ангельски, только я не собираюсь ждать, пока ты вернешься: наша свадьба состоится теперь же.

– Ты сошел с ума! Дождись хотя бы ночи.

– И не подумай – мне уже чудится стук копыт, будто граф твой вот-вот приедет. Если ж не приедет, то и ночь будет наша, мы ничего не потеряем.

– Так ты любишь меня?

– Безумно; как же иначе? Пьеса твоя достойна восхищения, и я должен его изъяснить. Не будем же медлить.

– Подожди. Закрой дверь. Ты прав; это всего лишь вставной эпизод, но он очень мил.

Под вечер все домашние поднялись к нам, и решено было отправиться на прогулку. Все уже было готово, как вдруг слышался шум кареты, что мчалась на шестерке почтовых. Каттинелла выглядывает в окно и просит всех удалиться, ибо это к ней, она уверена, приехал какой-то принц. Все уходит, а меня она вталкивает в мою комнату и запирает на ключ. Я вижу, как у трактира и вправду останавливается берлин, а из него выходит знатный господин вчетверо толще, чем я; его поддерживают двое слуг. Поднявшись по лестнице, входит он к

супруге, и мне остается лишь развлекаться с удобствами, слушая их беседы да глядя в щелку, чем занимались Каттинелла и сия громадная махина. Однако ж удовольствие это длилось пять часов и в конце концов мне надоело. Все это время укладывались вещи Каттинеллы, потом их грузили в берлин, потом был ужин и опорожнялись бутылки рейнвейну. В полночь граф Голштейн был таков и увез мужнюю жену с собою. В комнату ко мне во весь этот срок никто не входил, а звать у меня не было желания. Я боялся, что буду обнаружен, и не знал, как отнесся бы немецкий принц к тайному свидетелю, наблюдавшему все нежности, какими обменивались оба поименованных персонажа.

Ни тому, ни другому чести они не делали, и мне не раз являлись в голову мысли о ничтожестве рода человеческого.

После отъезда главной героини увидал я в щелку хозяйского сына и постучал, чтобы он открыл мне дверь; но он жалобно сказал, что придется ломать замок, ибо синьорина увезла ключ с собою. Я просил его сделать это немедленно – мне хотелось есть. Наконец все было готово, и за столом он составил мне компанию. Он говорил, что синьорина, улучив минутку, заверила его, что вернется через полтора месяца, и плакала, обещая вернуться, и поцеловала его.

– Принц, должно быть, оплатил ее расходы?

– Отнюдь нет. Когда б он и предложил денег, мы бы никогда их не приняли. Нареченная моя была бы оскорблена: вы не можете и представить, сколь благородны ее помыслы.

– А что говорит об отъезде ее ваш отец?

– Отец обо всех думает дурно; он говорит, что она больше не вернется, и матушка склоняется скорее к его мнению, нежели к моему. А что вы об этом скажете, *синьор маэстро*?

– Думаю, коли она вам обещала, то, наверное, вернется.

– Когда б она не намерена была возвращаться, то не стала бы и обещать.

– Именно так. Воистину рассуждения ваши безупречны.

Отужинал я остатками того, что приготовил графский повар, и выпил бутылку рейнвейну, припрятанную Каттинеллой, дабы его отблагодарить. После ужина я взял почтовых и уехал, пообещав жениху, что уговорю кузину вернуться возможно скорее. Я хотел заплатить – но он не пожелал брать с меня денег. В Болонью я прибыл четвертью часа позже, нежели Каттинелла, и остановился в одном с нею трактире. Улучив минуту, я поведал ей о том, какую имел беседу с ее олухом возлюбленным.

В Реджо я приехал прежде нее, но никак не мог с нею поговорить: она не отходила от своего графа. Я пробыл там всю ярмарку, и во все время не случилось со мною ничего, о чем стоило бы написать. Уехал я из Реджо вместе с Баллетти⁶³ и отправился в Турин. Мне хотелось увидеть этот город: проезжая его с Генриеттой, я останавливался лишь затем, чтобы переменить лошадей.

В Турине нашел я все равно прекрасным – город, двор, театр; и все женщины в нем прекрасны, начиная с герцогинь Савойских. Мне сказали, что порядок здесь отменный, и я посмеялся: улицы полны были нищих. Тем не менее именно порядок был главною заботой самого короля, каковой, как известно всем из истории, был весьма умен. Однако ж я, как последний разиня, дивился облику сего монарха. Не выдав никогда прежде королей, я неизвестно отчего полагал, что физиономия королевская должна заключать в себе нечто редкостное, по красоте ли либо по величию, и отличаться от всякого иного лица. Для молодого республиканца рассуждал я не так уж и глупо; но понятия мои развеялись вмиг, едва увидал я короля Сардинии⁶⁴ – уродливого, горбатого, гадкого и подлого во всем, даже и в манерах своих. Я слушал, как поет Аструа, и Гафарелло, видел, как танцует Жофруа – в то самое

⁶³ Баллетти – друг Казановы, Антонио Стефан Баллетти, потомственный актер.

⁶⁴ Король Сардинии – Карл Эммануил III.

время вышла она замуж за одного танцовщика по имени Боден, весьма достойного человека. Ни разу сердечная склонность не нарушила в Турине моего душевного покоя: разве только случилось у меня приключение с дочерью прачки, о котором пишу потому, что благодаря ему расширились познания мои в физике.

Сделав все возможное, дабы свидеться с этой девицею у себя, у нее либо во всяком ином месте, и не преуспев, решился я овладеть ею через некоторое насилие – под потаенную лестницей, которою она обыкновенно спускалась из моей комнаты. Я спрятался внизу и, когда подошла она поближе, бросился на нее и отчасти ласкою, отчасти натиском подавил ее сопротивление на нижних ступенях лестницы; но едва я разок тряхнул ее, как из места, что по соседству с тем, где расположился я, донесся весьма необыкновенный звук; пыл мой на миг охладел, тем более что покорница, устыдившись собственной нескромности, закрыла лицо рукою.

Я утешаю ее поцелуем и хочу продолжать, но тут раздался другой звук, громче прежнего; я дальше – но тут и третий, и четвертый, да так ритмично, что похоже было на оркестровый бас, отбивающий такт по ходу музыкальной пьесы. Сей звуковой феномен вкупе с замешательством и смущением, в каковом пребывала моя жертва, вдруг завладел целиком моей душой, и все вместе представилось в сознании в столь комическом виде, что от смеха лишился я всякой силы и должен был оставить добычу. Воспользовавшись сим обстоятельством, она спаслась бегством и с того дня не осмеливалась более являться мне на глаза. Долее четверти часа просидел я на лестнице, пока наконец смог успокоиться; всякий раз, вспоминая это забавное происшествие, я не в силах удержаться от смеха. Впоследствии я рассудил, что, быть может, и самое благоразумие девицы происходило от сего неудобства. Оно же, в свой черед, могло проистекать из особенного устройства органа: в таком случае девице подобало бы благодарить Провидение за дар, каковой из чувства неблагодарности представлялся ей, должно быть, недостатком. Полагаю, три четверти галантных дам, будь они подвержены подобным происшествиям, лишились бы своей любезности – разве что были бы уверены в подобных же свойствах любовников, ибо тогда необычайная симфония стала бы лишней утехой в приятном процессе. Даже и можно было бы без труда придумать приспособление вроде заслонки, дабы придавало сим залпам благовоние: когда один орган получает удовольствие, другой нимало не должен страдать, а запах в Венериных играх – отнюдь не последнее дело.

В Турине карты искупили зло, какое причинили мне в Реджо, и я легко подался на уговоры Баллетти отправиться вместе с ним в Париж, где тогда ждали рождения герцога Бургундского⁶⁵ и приготавливали пышные празднества. Все знали, что Госпожа супруга дофина была на сносях. Так что мы уехали из Турина и на пятый день прибыли в Лион, где провели неделю.

Лион – город замечательно красивый; всего три или четыре дворянских дома принимают здесь иностранцев, зато собирается весьма приличное общество в доброй сотне домов у купцов, фабрикантов и комиссионеров, каковые гораздо богаче фабрикантов. Обращение здесь куда менее учтивое, нежели в Париже, но к этому привыкаешь и наслаждаешься жизнью размеренней. Хороший вкус и дешевизна составляют богатство Лиона. Божество, коему обязан город своим достатком, – это мода. Всякий год она меняется, и ткань, что стоит ради нового рисунка тридцать монет, через год стоит уже двадцать, и ее отсылают за границу, где продают как совсем новую. Лионцы не скупятся платить рисовальщикам с хорошим вкусом: в этом весь секрет. Дешевизна происходит от соперничества, душа которого – свобода. Следовательно, правительство, что желает видеть в государстве своем расцвет торговли, должно только лишь предоставить ей полную свободу и следить единственно за тем, чтобы частный

⁶⁵ Этот титул принадлежал старшему сыну дофина, но 26 августа 1750 г. родилась девочка.

интерес не изобрел какого обмана в ущерб интересу общему. Государю надобно держать в руках весы, и пусть подданные наполняют их чаши, чем хотят⁶⁶.

В Лионе я повстречал самую знаменитую из венецианских куртизанок. Звали ее Анчиллоу. Красива она была необычайно: все говорили, что не видали подобной красоты. Всякий, глядя на нее, обязательно желал насладиться этой красотой, а она не умела никому отказать – ибо если мужчины любили ее поодиночке, то она любила весь мужской пол целиком. Те, кто не мог заплатить за ее милости причитающейся по закону небольшой суммы, получали их задаром, едва успев изъяснить свои желания.

Во все времена венецианские куртизанки славилась более красотой, нежели умом; из современниц моих первыми были эта самая Анчилла и еще одна, по имени Спина, – обе дочери гондольеров, обе умерли молодыми, задумав предаться ремеслу, каковое, как им представлялось, должно было придать им благородства. В двадцать два года Анчилла сделалась танцовщицей; Спина решила стать певицей. Танцовщицей Анчиллу сделал один танцовщик по имени Кампиони, венецианец, каковой танцевал серьезные балеты и, выучив Анчиллу всем изящным движениям, что только были доступны красивому ее стану, женился на ней. Спина научилась музыке у одного кастрата, которого звали Пепино делла Мамана; жениться на ней он не мог. Однако пела она более чем посредственно и *продолжала* жить на то, что извлекала из своих прелестей. Анчилла танцевала в Венеции и удалилась со сцены за два года до смерти, о которой я расскажу в своем месте.

В Лионе я застал ее вместе с мужем. Они возвращались из Англии, где снискали успех в Хеймаркетском театре. Остановилась она с мужем в Лионе единственно ради собственного удовольствия; вся красивая и богатая молодежь города была у ног ее, являлась к ней по вечерам и исполняла всякую ее прихоть, лишь бы понравиться ей. Днем – увеселительные прогулки, после – званый ужин, и во всю ночь напролет фараон. Банк держал некий дон Джузеппе Маркати, тот самый, которого знал я восемью годами ранее в испанской армии; называли его дон Пепе *il cadetto*, младший, а несколько лет спустя обнаружилось, что звали его Аффлизио; кончил он весьма скверно. Банк его в несколько дней выиграл триста тысяч франков. При дворе подобная сумма прошла бы незамеченной, но в торговом городе она привела в уныние всех отцов семейства, и итальянское общество надумало уезжать.

Один почтенный человек, с которым познакомился я у г-на де Рошбарона, доставил мне милость и ввел в число тех, кто видит свет. Я сделался *вольным каменщиком*, учеником. Два месяца спустя, в Париже, поднялся я на вторую ступень, а еще через несколько месяцев – на третью, иными словами, стал мастером. Эта ступень высшая⁶⁷. Все прочие титулы, какие даровались мне с течением времени, – всего лишь приятные выдумки и, хоть и имеют символический смысл, ничего к званию мастера не добавляют.

Нет в мире человека, который сумел бы все познать; но всякий человек должен стремиться к тому, чтобы познать все. Всякий молодой путешественник, если желает он узнать высший свет, не хочет оказаться хуже других и исключенным из общества себе равных, должен в нынешние времена быть посвящен в то, что называют масонством, и хотя бы поверхностно понять, что это такое. Однако ж он должен быть внимателен, выбирая ложу, в какую желает вступить: дурные люди не могут действовать в ложе, но могут оказаться в числе ее членов, и кандидату надобно остерегаться опасных связей. Те, кто решается вступить в масонскую ложу для того лишь, чтобы узнать ее тайну, могут обмануться: может статься, они полвека проживут мастерами-каменщиками, так и не постигнув тайны сего братства.

⁶⁶ Трудно не согласиться с предложенной Казановой формулой подъема промышленности и торговли. Уже в период складывания буржуазных отношений было ясно, что свобода – необходимое и главное условие экономического процветания. Казанова критиковал Великую французскую революцию именно за то, что она превратилась в свою противоположность, заменила свободу насилием и террором («деспотизм народа»).

⁶⁷ Три ступени масонского ордена: ученик, подмастерье, мастер.

Тайна масонства нерушима по самой природе своей, ибо каменщик, владеющий ею, не узнал ее от другого, но разгадал сам. Если она открылась ему, то для того, что ходил он в ложу, наблюдал, рассуждал и делал выводы. Сумев постигнуть ее, он остерегается разделить открытие свое с кем бы то ни было, даже и с лучшим своим другом-каменщиком: ведь если тому недостало таланту проникнуть в нее, то тем более не получит он никакой пользы, услышав ее изустно. А потому тайна сия вечно пребудет тайной.

Втайне должно держаться и все то, что происходит в ложе; однако те, кто по бесчестью своему и нескромности не постеснялись разгласить происходящее в ней, все ж не разгласили главного. Да и как могли они разгласить то, что им самим неизвестно? Знай они тайну, не разгласили бы и обрядов.

Во многих непосвященных братство каменщиков производит ныне те же чувства, что в древние времена великие таинства, какие праздновались в Элевсине во славу Цереры. Они занимали воображение всей Греции, и первейшие люди на этой земле мечтали быть в них посвящены. То посвящение было несравнимо важнее, нежели нынешнее во франк-масоны, среди которых встретишь и негодяев, и отбросы рода человеческого. Долгое время Элевсинские мистерии внушали всем благоговение, и происходящее на них было окутано глубочайшей тайной. Дерзнули, к примеру, разгласить три слова, что произносил иерофант в конце мистерий, отпуская посвященных; и что же последовало? Ничего, кроме бесчестия для разгласившего, ибо три эти слова принадлежали к варварскому наречию, неизвестному профанам. Где-то читал я, что эти слова означали: *Бдите и не творите зла*. Посвящение продолжалось девять дней, обряды были весьма пышные, а общество – весьма почтенное. У Плутарха читаем, что Алкивиад⁶⁸ приговорен был к смерти, а имущество его обращено в казну за то, что дерзнул он вместе с Политионом и Теодором насмехаться в доме своем над великими таинствами, нарушив закон эвмолпидов⁶⁹. Вследствие сего святотатства всякий жрец и жрица должны были по приговору проклясть его; но исполнено это не было, ибо одна жрица, воспротивившись, привела тот довод, что жрица она *для благословения, а не для проклятия*: превосходный урок для святейшего отца нашего, Римского Папы, но он ему не внемлет. Сегодня уже ничто не свято. Ботарелли печатает в своей книжонке все обычаи вольных каменщиков – все довольствуются тем, что зовут его мошенником. Будто не было это известно заранее. В Неаполе некий князь и г-н Амильтон устраивают у себя чудо св. Януария, а король покрывает их и даже не вспомнит, что носит на своей королевской груди орденскую ленту, на которой вокруг изображения св. Януария написаны слова: *In sanguine foedus*⁷⁰. Мы одолеем это и станем двигаться вперед, но, коли остановимся на полпути, все пойдет еще хуже.

Мы взяли два места в дилижансе, дабы в пять дней быть уже в Париже. Баллетти предупредил домашних, когда выезжает, и оттого знали они час нашего прибытия.

В экипаже том, каковой именуют дилижансом, ехало нас восемь человек; все сидели – и всем было неудобно, ибо он был овальный; никто не устроился в углу – углов не было вовсе. Мне показалось это неразумным, но я молчал: я был итальянец и должен был находить все французское восхитительным. Овальный экипаж! Я почитал моду – и проклинал ее: карета качалась столь особенным образом, что меня затошнило. У ней были чересчур хорошие рессоры. Простая тряска меньше беспокоила бы меня. В быстром своем беге по

⁶⁸ Алкивиад – древнегреческий полководец Алкивиад был обвинен в том, что «нанес оскорбление богиням Деметре и Коре, в своем доме на глазах у товарищей он подражал верховным священнодействиям... вопреки законам и установлениям эвмолпидов, кериков и элевсинских мистерий. Алкивиад был осужден заочно, его имущество конфисковано, а сверх того было принято дополнительное решение, обязывающее всех жрецов и жриц придать его проклятию» (Плутарх. Параллельные жизнеописания. Алкивиад, XXII / Пер. С. П. Маркиша).

⁶⁹ Эвмолпиды – жреческий род, потомки Эвмолпа, положившего начало элевсинским мистериям.

⁷⁰ Союз во крови (лат.; от: Исход, 24,8).

прекрасной дороге карета раскачивалась, словно на волнах; оттого еще называли ее гондолою; но настоящая венецианская гондола с двумя гребцами движется ровно, от нее не тошнит и с души не воротит. Голова у меня закружилась. От быстрой этой езды, хотя почти вовсе и не тряской, в глазах у меня помутилось, и я принужден был извергнуть все содержимое своего желудка. Общество мое все сочли неприятным, но промолчали, сказав только, что я слишком плотно поужинал, да некий парижский аббат решился защитить меня и объявил, что я слаб желудком. Завязался спор. Выйдя из терпения, я оборвал их разговор:

– *Оба вы ошибаетесь: желудок у меня отличный, и нынче не ужинал я вовсе.*

Мужчина в годах, рядом с которым сидел мальчик лет двенадцати-тринадцати, сказал мне сладким голосом, что не следовало указывать этим господам, *что они ошибаются*: я мог бы сказать, что они не правы – подобно Цицерону, каковой не сказал римлянам, что Катилина и прочие осужденные умерли, но что они отжили свое.

– Да не все ли равно?

– Прошу прощения, сударь: одно учтиво, а другое не учтиво.

Тут он произнес блистательную речь о том, что есть учтивость, и под конец сказал смеясь:

– Бьюсь об заклад, сударь, вы итальянец.

– Да; но почему вы узнали, осмелюсь спросить?

– О! О! по тому, каким вниманием вы удостоили мою долгую болтовню.

Тут все общество расхохоталось, а я пустился опекать этого чудака; он был гувернер сидевшего рядом юноши. Во все пять дней он наставлял меня во французской учтивости, и когда пришло время расстаться, отозвал меня в сторону со словами, что хочет сделать мне маленький подарок.

– Какой?

– Вам надобно позабыть и выбросить вовсе из головы частицу *нет*, каковую употребляете вы немилосердно когда надо и когда не надо. *Нет* – не французское слово. Скажите «*прошу прощения*»: смысл таков же, но никто не будет оскорблен. Сказав *нет*, вы уличаете собеседника во лжи. Забудьте его, сударь, либо готовьтесь к тому, что в Париже вам придется поминутно обнажать шпагу.

– Благодарю вас, сударь, и обещаю до конца дней своих не говорить более *нет*.

В Париже поначалу казался я сам себе величайшим преступником, ибо только и делал, что просил прощения. Однажды я решил даже, что попросил его некстати и меня вызывают на ссору. То было в комедии: один петиметр по неосторожности наступил мне на ногу.

– Простите, сударь, – быстро произнес я.

– Это вы меня простите.

– И вы меня.

– И вы меня.

– Увы, сударь: простим же друг друга оба и позвольте вас обнять.

Так окончился наш спор.

Однажды наш гондола-дилижанс мчался полным ходом, и я довольно крепко спал в вертикальном положении, как вдруг сосед мой трясет меня за плечо и будит.

– Что вам угодно?

– Ах, сударь, умоляю, взгляните, какой замок!

– Вижу. Замок как замок, ничего особенного. Что вы в нем нашли необыкновенного?

– Ровно ничего; но ведь мы в сорока лье от Парижа! Поверят ли мне ротозеи соотечественники, когда я скажу, что видел такой красивый замок в сорока лье от столицы? Каким невеждой бываешь, если не попутешествуешь хоть немного!

– Ваша правда.

Человек этот сам был парижанин и в душе такой же ротозей, как какой-нибудь галл во времена Цезаря.

Но если уж парижане с утра до вечера ротозейничают, всем развлекаются и всему дивятся, то иностранцу вроде меня вдвойне пристало быть ротозеем. Разница между ними и мною заключалась в том, что я, привыкши видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, с удивлением увидал их здесь словно бы в маске, меняющей самую их природу; они же частенько поражены, когда им вдруг намекают, что под маской кроется нечто иное.

Весьма понравилась мне прекрасная проезжая дорога, бессмертное творение Людовика XV, опрятные трактиры, отменная еда, быстрота, с какою подавали на стол, великолепные постели и скромность прислуги: за столом обыкновенно прислуживала самая красивая в доме девушка, но опрятный облик ее и повадки обуздывали развратные помыслы. Найдется ли кто у нас в Италии, чтобы глядел с удовольствием на лакеев в наших трактирах, на наглые их мины и нахальные ухватки? В те времена во Франции не знали, что такое спросить лишнего; Франция была родиной для чужестранцев. Родина ли она нынче для самих французов? Прежде имели мы нередко неприятность, видя, как является ненавистный деспотизм в тайных повелениях об аресте. То был деспотизм короля. Теперь же предстанет нам деспотизм народа, невоздержного, кровожадного, необузданного; он сбегается в толпы, вешает, рубит головы, убивает всякого, кто, не будучи сам народом, осмелится обнаружить свое мнение.

Ночевали мы в Фонтенбло, и за час до того, как нам прибыть в Париж, увидали ехавший оттуда берлин.

– Вот и матушка, – сказал Баллетти, – стойте, стойте!

Мы спускаемся, и после обычных между матерью и сыном изъявлений радости он представляет меня; мать же – то была знаменитая актриса Сильвия – говорит мне просто:

– Надеюсь, сударь, друг моего сына не откажется прийти к нам нынче вечером на ужин.

С этими словами садится она с сыном и девятилетней дочерью в свою карету, а я возвращаюсь в гондолу.

Приехав в Париж, был я встречен слугою Сильвии и фиакром; слуга распорядился всем и отвез меня на квартиру, где показалось мне весьма чисто. Разместивши там чемодан и все мои вещи, он проводил меня к своей госпоже, что жила в полусотне шагов оттуда. Баллетти представил меня отцу: звали его Марио⁷¹, и он тогда выздоравливал после болезни. Марио и Сильвия были имена, какие носили они на театре, когда играли комедии на заданный сюжет. Французы всегда называют итальянских актеров и в жизни тем же именем, под каким узнали их на сцене. «Здравствуйте, господин Арлекин, добрый день, господин Панталоне» – так встречали в Пале-Рояле тех, кто играл на театре этих персонажей.

⁷¹ Марио – Джузенне Антонио Баллетти (Марио) разошелся с женой и произвел раздел имущества еще в 1747 г., но продолжал жить в семье.

Глава VIII

Я начинаю постигать Париж. Лица. Странности. Всякая всячина

По случаю приезда сына Сильвия позвала к ужину всех своих родных. Я был счастлив, что прибыл в Париж вовремя и успел познакомиться с ними. Марио, отца Баллетти, за столом не было, он еще не оправился после болезни, но я познакомился с сестрой его, что была еще старше и которую звали Фламинией, театральным ее именем. Несколько переводов принесли ей известность в Республике Изящной Словесности; но я желал узнать ее поближе ради истории, известной во всей Италии, о том, как повстречались в Париже три знаменитости⁷², а именно маркиз Маффеи, аббат Конти и Пьер-Якопо Мартелли. Говорят, они стали врагами для того, что каждый добивался у сей актрисы особенного к себе расположения; как люди ученые, сражались они на перьях. Мартелли написал на Маффеи сатиру, назвав его анаграмматически Фемиа⁷³.

Фламинии доложили обо мне как о кандидате в члены Республики Изящной Словесности, и женщина эта почла своим долгом удостоить меня беседой. Мне показалась она неприятна и лицом, и манерою говорить и держаться, и даже самым голосом своим; не сказавши того прямо, дала она мне однако ж понять, что она – знаменитость в Республике Словесности, а я – насекомое; она словно читала урок, полагая, что в свои семьдесят лет имеет право поучать двадцатипятилетнего мальчишку, не обогатившего доселе ничьей библиотеки. Дабы угодить ей, я заговорил об аббате Конти и прочел к слову два стиха мудрого этого человека. С ласковым видом она поправила меня в слове *scevra*, что значит «разлученная»; я произнес его с *и* согласным, то есть с *у*, она же объявила, что здесь надобно произносить гласный, говоря, чтоб я не сердился, узнавши о том впервые сразу по приезде в Париж.

– Я очень хочу учиться, сударыня, но не перенимать ошибки. Надобно говорить *scevra*, но не *sceura*, ибо это то же, что *scévera*, только с пропущенной гласной.

– Посмотрим, кто из нас двоих ошибается.

– Ариосто гласит, что ошибаетесь вы, сударыня: он рифмует *scevra* и *persevra*.

Она пустилась было спорить, но восьмидесятилетний муж ее сказал, что она неправа. Она умолкла и с той поры рассказывала всем, какой я обманщик. Мужем этой женщины был Лодовико Риккобони, которого все звали Лелио, – тот самый, что в шестнадцатом году привез в Париж, на службу к герцогу-регенту, итальянскую труппу. Я воздал ему по заслугам. В свое время это был весьма красивый мужчина, и публика по праву почитала его – как по причине дарования, так и за чистоту нравов. Во весь ужин я самым пристальным образом изучал Сильвию: слава ее тогда была непревзойденной. Мне представилась она лучше, нежели все, что говорили о ней. Пятидесяти лет, с изящной фигурой, благородной осанкой и манерами, она держалась непринужденно, приветливо, весело, говорила умно, была обходительна со всеми и полна остроумия, но без малейшего признака жеманства. Лицо ее было загадкой: оно влекло, оно нравилось всем, и все же при внимательном рассмотрении его нельзя было назвать красивым; но никто и никогда не дерзнул объявить его также и некрасивым. Нельзя было сказать, хороша она или безобразна, ибо первым бросался в глаза и привлекал к ней ее нрав. Какова же была она? Красавица; но законы и пропорции ее красоты, неведомые для всех, открывались лишь тем, кто, влекомый магической силой любви, имел отвагу изучить ее самое и силу постигнуть эти законы.

⁷² Они все приезжали в Париж в разные годы. Их спор мог произойти только в Италии, где играла Фламиния до 1716 г., когда регент Филипп Орлеанский возвратил во Францию итальянскую труппу, изгнанную Людовиком XIV.

⁷³ *Фемиа* – «Осужденный Фемиа» (1724).

Актрисе этой поклонялась вся Франция, дар ее служил опорой всех комедий, что писали для нее величайшие сочинители, и первый Мариво. Без нее комедии эти остались бы неизвестны потомкам. Ни разу не случилось еще найти актрисы, способной ее заменить, и никогда не найдется такой, чтобы соединила в себе все те составные части сложнейшего театрального искусства, какими наделена была Сильвия, – умение двигаться, голос, выражение лица, ум, манеру держаться и знание человеческого сердца. Все в ней было естественно, как сама природа; искусства, сопутствовавшего всякому ее шагу и придававшего ему совершенство, казалось, и нет вовсе.

Неповторимая во всем, сверх упомянутых мною свойств обладала она еще одним, не имея которого, точно так же достигла бы как актриса вершин славы, – чистотою нравов. Она стремилась иметь друзей – но отнюдь не любовников⁷⁴, и смеялась над правом, пользуясь которым получала бы наслаждение, но стала бы презирать самое себя. Оттого заслужила она звание порядочной женщины в такие лета, когда в ее положении могло оно представиться смешным и даже оскорбительным. Оттого многие дамы из высшего света удостаивали ее более дружбою, нежели покровительством. Оттого переменчивый парижский партер ни разу не дерзнул освистать ее в не приглянувшейся ему роли. Все единодушно считали Сильвию женщиной, что стоит выше своего положения в обществе.

Она не верила, что благоразумное поведение может быть поставлено ей в заслугу, ибо знала, что происходит оно от одного лишь самолюбия; а потому в отношении ее к подругам-актрисам, каковые довольствовались блистанием таланта и не стремились прославиться еще и добродетелью, никогда не проскальзывало ни тени гордыни либо превосходства. Сильвия любила их всех, и они ее любили; она при всех хвалила их и воздавала по заслугам. И была права: ей нечего было опасаться, ни одна из актрис ни в чем не могла сравниться с нею.

Природа отняла у несравненной этой женщины десять лет жизни. Через десять лет после нашего знакомства, когда ей минуло шестьдесят, она стала чахнуть. Парижский климат, случается, играет подобные шутки с итальянками. Я видел ее за два года до смерти: она играла Марианну в пьесе Мариво⁷⁵ и казалась не старше самой Марианны. Умерла она у меня на глазах, обнимая дочь, и за пять минут до кончины еще давала ей последние наставления. Похоронили ее со всеми почестями на кладбище у церкви Спасителя; кюре, нимало тому не воспротивившись, сказал, что ремесло актрисы никогда не мешало ей быть доброй христианкой.

Простите, читатель, что произнес надгробную речь Сильвии за десять лет до ее смерти. В своем месте я вас от нее избавлю.

Единственная дочь Сильвии, главный предмет ее любви, сидела в тот раз за столом рядом с нею. Ей было всего девять лет. Всецело поглощенный достоинствами матери, я ни на миг не задержал на дочери внимания; это случится лишь со временем. Как нельзя более довольный первым парижским вечером, воротился я на свою квартиру у г-жи Кенсон – так звали мою хозяйку.

Наутро, когда я проснулся, девица Кенсон пришла сказать, что за дверью ожидает человек, желающий наняться ко мне в услужение. Предо мною стоит коротышка, и я сразу говорю, что таких не люблю.

– Пусть я мал ростом, мой государь, зато вы будете уверены, что я не отправлюсь по свету искать счастья в вашем костюме.

– Как ваше имя?

– Как вам будет угодно.

⁷⁴ В донесениях парижской полиции утверждалось, что Сильвия – любовница Казановы и содержит его.

⁷⁵ «Игра любви и случая» (1730).

– Как так? Я спрашиваю, как вас зовут.

– Меня никак не зовут. Всякий новый хозяин дает мне имя, и во всю жизнь у меня уже было их более полусотни. Меня будут звать так, как вы назовете.

– Но у вас же должно быть в конце концов свое имя – то, что вам дали в семье.

– В семье? У меня никогда не было семьи. В юности у меня было какое-то имя, но за те двадцать лет, что я в услужении и непрестанно меняю хозяев, я забыл его.

– Я стану звать вас Умником.

– Премного благодарен.

– Вот вам луидор, подите и разменяйте его.

– Вот деньги.

– Вы, я вижу, богаты.

– К вашим услугам, господин.

– Кто мне поручится за вас?

– В бюро по найму слуг, да и г-жа Кенсон тоже. Меня весь Париж знает.

– Этого довольно. Я кладу вам по тридцать су в день, одежда ваша, спать будете у себя, а по утрам, в семь часов, будете в моем распоряжении.

Зашел ко мне Баллетти и приглашал каждый день к обеду и к ужину. Я велел проводить меня в Пале-Рояль и оставил Умника у ворот. С любопытством стал я осматривать сие столь хваленое гульбище. Сад был довольно красив, с аллеями густых деревьев, бассейнами и *большими домами* вокруг них, со множеством гуляющих мужчин и женщин, раскиданными там и сям скамьями, где продавались *новые книжки*, душистые воды, зубочистки, безделки; предо мною плетеные стулья, что можно нанять за одно су, любители газет, укрывающиеся в тени, завтракающие девицы и мужчины – кто поодиночке, кто целым обществом; прислужники из кофейного дома сновали вверх и вниз по лесенке, прячущейся за грабами. Я сажусь за пустой столик, прислужник спрашивает, что мне угодно, я велю принести шоколаду без молока – и он приносит отвратительный шоколад в серебряной чашке. Оставив его нетронутым, я спрашиваю у прислужника кофе, если он хорош.

– Кофе отменный; сам вчера варил его.

– Вчера? Такого мне не нужно.

– Но молоко в нем как нельзя лучше.

– Молоко? Молока я вовсе не пью. Сделайте мне теперь же чашку кофе на воде.

– На воде мы готовим только после обеда. Не угодно ли баварского питья⁷⁶? Не угодно ли графин оржату⁷⁷?

– Да, оржату.

Напиток сей нашел я отменным и решил завтракать им всегда. Спрашиваю у прислужника, не случилось ли чего нового, и он отвечает, что супруга дофина разрешилась от бремени принцем; некий аббат возражает, что тот, верно, спятил – она разрешилась принцессою; тут подходит третий со словами:

– Я нынче же из Версаля, и супруга дофина не разрешилась пока ни принцем, ни принцессою.

Он сказал, что, как ему кажется, я иностранец; я отвечаю, что я итальянец и прибыл накануне. Тогда он заводит со мною разговор про двор, про город, про спектакли и берется повсюду меня представить; я благодарю и удаляюсь в сопровождении аббата, каковой называет мне имена всех гуляющих девиц. Ему встречается какой-то приказный, они обнимаются, и аббат представляет его мне как знатока итальянской литературы; я говорю с ним по-итальянски, он остроумно отвечает, я смеюсь стилю его и объясняю причину: он говорил

⁷⁶ *Баварское питье* – чай с молоком, желтком, сиропом и ликером.

⁷⁷ *Оржат* – первоначально ячменный отвар, в XVIII в. – напиток из миндального сиропа и семян дыни.

точь-в-точь в стиле Боккаччо. Замечание мое приходится ему по вкусу, но я убеждаю его, что хотя язык у этого древнего автора совершенен, говорить так не следует. Менее нежели в четверть часа открываем мы друг в друге общие склонности и завязывается меж нами дружба. Он поэт, и я поэт, его влечет итальянская литература, меня – французская: мы сказываем друг другу адреса наши и обещаем обменяться визитами.

В углу сада вижу я плотную толпу мужчин и женщин, глядящих вверх, и спрашиваю нового своего друга, что там такого удивительного. Он отвечает, что все эти люди со своими часами в руках внимательно следят за солнечными часами в ожидании, когда тень от стрелки укажет полдень: они хотят сверить свои часы.

– Что ж, разве нет нигде больше солнечных часов?

– Они есть повсюду, но знамениты лишь часы Пале-Рояля.

Тут я не мог удержаться от смеха.

– Отчего вы смеетесь?

– Оттого что все солнечные часы показывают повсюду одно и то же; вот вам чистейшей воды ротозейство.

Немного подумав, он засмеялся и сам, а после велел мне смелей критиковать добрых парижан. Мы выходим из Пале-Рояля через главные ворота, и я вижу справа множество народу, толпящегося перед лавкой, на вывеске которой нарисована была Циветта.

– Что здесь такое?

– Вы и теперь станете смеяться. Все эти люди ждут, чтобы купить табаку.

– Разве табак продают в одной этой лавке?

– Продают его повсюду; но вот уже три недели, как все желают наполнить табакерки единственно табаком от Циветты.

– Разве он лучше других?

– Вовсе нет; быть может, и хуже; но госпожа герцогиня Шартрская ввела его в моду, и теперь все только его и хотят.

– Как же удалось ей ввести его в моду?

– Два или три раза останавливалась она перед этой лавкой в своей карете и покупала табаку лишь столько, сколько входило в табакерку, но говорила прилюдно молодой табачнице, что у ней лучший товар в Париже; ротозеи, что стояли вокруг, поведали о том другим, и весь Париж узнал – если хочешь купить хорошего табаку, отправляйся к Циветте. Женщина эта непременно разбогатеет: она продает табаку больше, чем на сто экю в день.

– Герцогиня Шартрская, верно, и не знает, что принесла этой женщине удачу.

– Напротив; это выдумка самой герцогини, известной своим остроумием. Она полюбила эту женщину, каковая недавно вышла замуж, и, размышляя, какую могла бы оказать ей услугу, рассудила, что надобно поступить именно так. Вы не поверите, какие славные люди парижане. Страна, куда вы приехали, – единственная в мире, где ум волен преуспеть любым способом: коли заявит он о себе некоей истиной, его станут приветствовать люди умные, а коли ошибется и впадет в обман, его вознаградят глупцы. Глупость – отличительное свойство нашей нации и, что самое удивительное, родная дочь ума; не сочтите за парадокс, но выходит, что французская нация была бы благоразумней, когда б у нее было ума поменее⁷⁸.

Здесь почитают двух богов, хоть и не возводят им алтарей, – новизну и моду. Стоит человеку побежать – все, увидав его, побегут следом и не остановятся, если только не обнаружат, что он сумасшедший; но обнаружить это – труд непосильный: сколько у нас безумцев от рождения, которых и теперь еще считают мудрецами! Табак от Циветты дает лишь самое малое понятие о городской суете и столпотворениях. Король наш, отправившись на

⁷⁸ «Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни», – утверждал Д. И. Фонвизин в 1778 г. в «Записках первого путешествия (Письма из Франции)».

охоту, оказался на мосту в Нейи и вздумал выпить сладкой водки. Остановившись у кабака, спросил он ратафии, у бедняги кабатчика по счастливой случайности сыскалась бутылка ее, и королю случилось, выпив стакан, сказать окружающим, что напиток превосходный, и просить другой стакан. Этого оказалось довольно, чтобы кабатчик разбогател. Не прошло и суток, как весь двор и весь город знали: ратафия⁷⁹ из Нейи – лучшее в Европе питье, ведь так сказал король! Самое блестящее общество отправлялось к полуночи в Нейи выпить ратафии; меньше чем в три года кабатчик стал богат и велел построить на этом месте дом, на котором увидите вы весьма забавную надпись – ее подарил этому человеку кто-то из наших господ Академиков: *ex liquidis solidum*⁸⁰. Какого святого должен благословлять кабатчик за то, что скоро и блистательно преуспел? Глупость, переменчивость да желание посмеяться.

– Полагаю, – сказал я, – что подобное восхищение всяким суждением короля и принцев крови происходит от нерушимой любви, что питает к ним преданный народ. Любовь столь велика, что их считают непогрешимыми.

– Вы правы. Иностранцы, глядя на происходящее во Франции, все уверены, что нация обожает своего короля; но те у нас, кто не утратил способность мыслить, понимают, что любовь нации к монарху – одна лишь мишура. Что может зиждиться на любви, ни на чем не основанной? Двор на сей счет отнюдь не заблуждается. Король въезжает в Париж, и все кричат *«Да здравствует король!»* – потому только, что один бездельник поднял этот крик. Это крик веселья, а может, и страха; поверьте, сам король никогда не принимает его за чистую монету. Ему не терпится воротиться в Версаль, где под охраною двадцати пяти тысяч человек он может не бояться ярости этого самого народа, каковому, если он поумнеет, может прийти охота закричать *«Да умрет король!»* Людовик XIV хорошо это знал. Потому-то и казнил несколько советников парламента, дерзнувших заговорить о том, чтобы в случае национальных бедствий собирать Генеральные штаты. Королей во Франции никогда не любили, разве что Людовика Святого, за благочестие, Людовика XII да Генриха IV, когда он уже умер. Теперешний наш король сказал однажды простодушно, выздоравливая после болезни: *«Все это великое ликование оттого, что я снова здоров, мне странно, ибо я не могу понять, за что меня так любят»*. Сие монаршее суждение превозносили до небес. Он рассуждал. Любой придворный-философ должен был отвечать ему, что его так любят за одно лишь то, что носит он прозвание *Возлюбленного*.

– Есть ли меж придворных философы?

– Философов нет, ибо невозможно придворному быть философом, но есть люди умные, каковые ради собственного блага не раскрывают рта. Недавно король хвастал одному придворному, имени которого я вам не скажу, как он наслаждался, проведя ночь с госпожою М***⁸¹, и говорил, что, как ему кажется, нет в мире другой женщины, способной доставлять подобные удовольствия. Придворный отвечал, что Его Величество изменил бы свое суждение, когда бы хоть раз побывал в борделе. Придворного немедля удалили в его владения.

– На мой взгляд, короли французские правы, что не терпят мысли о созвании Генеральных штатов, ибо тогда они оказываются в положении папы, созывающего собор.

– Не вполне; но это и неважно. Генеральные штаты были бы опасны, когда бы народ, то есть третье сословие, мог перевесить голоса дворянства и духовенства; но такого нет и никогда не будет – вряд ли возможно, чтобы политика вложила меч в руки буйно помешанных. Народ хотел бы пользоваться тем же влиянием, что и оба других сословия, но ни

⁷⁹ Ратафия – некрепкий ликер с фруктовым соком.

⁸⁰ Из жидкого – твердое (лат.).

⁸¹ Г-жа М*** – Маркиза де Помпадур.

один король, ни один министр никогда не доставят ему такого права. Когда бы какой-нибудь министр это сделал, он был бы глупец либо предатель⁸².

Молодого человека, который речами своими сразу же дал мне верное понятие о французской нации, о парижанах, королевском дворе и самом государе, звали Патю. Мне еще представится случай рассказать о нем. За разговорами проводил он меня до дверей Сильвии и поздравил с тем, что я вхож в этот дом.

Любезную эту актрису я застал в приятном обществе. Она представила меня всем и с каждым познакомилась. Услыхав имя Кребийона, я был поражен.

– Неужто, сударь, так скоро явилось мне счастье! – сказал я. – Тому восемь лет, как вы пленили меня. Послушайте, сделайте милость.

И я читаю ему самую прекрасную сцену из «Зенобии и Радамиста», которую переложил белым стихом. Сильвия была в восторге: восьмидесятилетний Кребийон с чувствительным удовольствием слушал самого себя в переводе на язык, каковой любил более родного. Он прочел ту же сцену по-французски и учтиво указал те места, где я, как он выразился, его приукрасил. Я благодарил, не обманувшись похвалою. Мы сели за стол; меня спросили, что повидал я в Париже хорошего, и я рассказал обо всем, что видел и узнал, умолчав лишь о речах Патю. Говорил я по меньшей мере два часа, и Кребийон, лучше других понявший, какой избрал я путь, дабы узнать и добрые, и дурные черты французской нации, обратился ко мне с такими словами:

– Для первого дня вы, государь мой, полагаю, обещаете пойти далеко. Вы скоро станете делать успехи. Я нахожу в вас хорошего рассказчика. По-французски вы изъясняетесь вполне понятно; однако все, что вы говорили, звучало словно бы итальянскими фразами. Вас нельзя не слушать, вы пробуждаете к себе интерес, и самой этой необычностью речи вдвойне привлекаете слушателей; скажу даже, что нечистый ваш язык не может не доставить вам одобрения слушателей самой странностью своей и новизною: в стране, куда вы прибыли, бегают за всем, что странно и ново. И все же не позднее завтрашнего дня вам надобно со всем трудолюбием приступить к изучению нашего языка, дабы хорошо на нем говорить – в противном случае те же люди, что теперь хвалят вас, через два-три месяца станут над вами смеяться.

– Верю, и сам того боюсь; главною целью моего приезда как раз и было отдаться всеми силами французскому языку и литературе; но, сударь, где мне найти учителя? Я ученик невыносимый – любопытный, докучливый, ненасытный, вечно задаю вопросы. И я не столь богат, чтобы платить подобному учителю, даже если и случится мне найти его.

– Тому уже полвека, государь мой, как я ищу такого именно ученика, каким вы себя нарисовали, и я сам стану платить вам, если пожелаете вы приходить ко мне и брать уроки. Дом мой в Маре, на улице Двенадцати ворот; у меня есть лучшие итальянские поэты, вы станете переводить их на французский, и я никогда не поставлю предела вашему любопытству.

Я принял приглашение его в великом замешательстве, не умея изъяснить всю свою благодарность. Кребийон был шести футов ростом, выше меня на три дюйма⁸³; он изящно ел, рассказывал, сам не смеясь, забавные истории и славился своими остроумиями. Жил он домоседом, выезжал редко и почти никого не принимал; во рту у него всегда была трубка, а кругом – восемнадцать или двадцать кошек, что развлекали его большую часть дня. Держал он старуху экономку, кухарку и одного слугу. Экономка заботилась обо всем, распоряжалась деньгами, и он, ни в чем не зная недостатка, никогда не спрашивал у нее отчета. И вот что примечательно. В Кребийоновом лице было что-то львиное – либо кошачье, что одно и то

⁸² Как сказал Гегель, историк – это пророк, предсказывающий назад. Именно в этой роли выступает здесь Казанова. Ведь главной причиной французской революции он считал ошибочную политику министра финансов Ж. Неккера и согласие короля на созыв Генеральных Штатов в 1789 г. («Леонарду Снетлаге», 1797). До этого их не созывали более 150 лет.

⁸³ Т. е. рост Кребийона должен был быть 1 м 95 см, Казановы – 1 м 87 см.

же. Служил он королевским цензором и говорил, что это его забавляет. Экономка читала ему вслух принесенные сочинения, и в тех местах, какие, по ее понятиям, требовали цензуры, прерывала чтение; случалось, он был иного мнения, и тогда они с экономкой спорили, а я смеялся. Однажды я слышал, как кто-то явился забрать исправленную свою рукопись, а женщина эта отослала сочинителя со словами:

– Приходите на будущей неделе, у нас еще не было времени рассмотреть ваше произведение.

Я ходил к Кребийону целый год по три раза в неделю, у него научился всему, что знаю по-французски, но так и не сумел избавиться от итальянских оборотов; я узнаю их, встречая у других; но когда выходят они из-под собственного моего пера, я их не различаю и, без сомнения, никогда не научусь различать – как никогда не мог я увидеть, в чем заключается пресловутая испорченность латыни у Тита Ливия.

Написав вольным стихом восьмистишие на какой-то сюжет, отнес я его Кребийону, дабы он исправил мои стихи. Прочтя со вниманием мои восемь строк, вот что он мне сказал:

– Мысль ваша прекрасна и весьма поэтична; язык совершенен; стихи хороши и как нельзя более правильны; и все же восьмистишие ваше дурно.

– Для чего же?

– Сам не знаю. В нем недостает *чего-то такого, je ne sais s quoi*. Представьте, что перед вами мужчина; вам кажется он красивым, статным, учтивым, остроумным – в общем, изучив его пристрастно и строго, вы находите его совершенством. И тут является женщина, глядит на этого мужчину и, разглядев хорошенько, уходит, говоря, что мужчина ей не нравится. «Но сударыня, скажите, какой вы нашли в нем изъян». – «Сама не знаю». Обернувшись к мужчине, всматриваетесь вы в него пристальней и в конце концов открываете, что он кастрат. Ах! говорите вы, теперь я понимаю, отчего той женщине он пришелся не по вкусу.

Сравнением этим Кребийон дал мне понять, отчего не понравилось ему мое восьмистишие.

За столом мы много говорили о Людовике XIV; Кребийон состоял при дворе его пятнадцать лет кряду и рассказывал нам весьма занятные и никому не ведомые истории. Он уверял, что сиаамские послы были проходимцы⁸⁴, которых подкупила госпожа де Ментенон. Еще он сказал, что бросил незаконченную трагедию под названием «Кромвель», ибо сам король однажды не велел ему тратить перо на какого-то прохвоста.

Заговорив о своем «Катилине», он сказал, что считает его самой слабой из своих пьес, но не хотел бы и улучшить ее, если б для того пришлось ему вывести на сцену Цезаря – ибо юный Цезарь был бы смешон, как смешна была бы Медея, представленная прежде, нежели узнала она Язона. Весьма хвалил он дарование Вольтера, но обвинял его в воровстве, ибо тот украл у него сцену в Сенате⁸⁵. Воздавая Вольтеру по заслугам, он сказал, что тот прирожденный историк, однако ж искажает историю и заполняет ее сказками, дабы прибавить ей увлекательности. Кребийон полагал, что человек в железной маске⁸⁶ – чистая выдумка; подтверждение тому, по его словам, получил он из уст самого Людовика XIV.

В театре у итальянцев в тот день давали «Сению», пьесу г-жи де Графиньи. Я отправился туда загодя, дабы получить хорошее место в амфитеатре.

Привлеченный зрелищем увешанных бриллиантами дам, что появлялись в ложах бельэтажа, я внимательно их разглядывал. Фрак на мне был красивый, но с широкими рукавами и сверху донизу в пуговицах, и для того всякий признавал во мне иностранца: в Париже эта

⁸⁴ Король Сиам трижды посылал послов во Францию в 1680-е гг. Возможно, Казанова имеет в виду «персидских» послов.

⁸⁵ Вольтер написал трагедию «Катилина» в 1752 г.

⁸⁶ В «Веке Людовика XIV» (1751) Вольтер утверждал, что Железная маска – брат Людовика XIV. По-видимому, под маской скрывался Е. М. Маттиоли (ум. 1703), государственный секретарь герцога Мантуанского.

мода уже прошла. И вот я рассматриваю дам, и приступает ко мне богато одетый мужчина втрое толще меня, вежливо спрашивая, не иностранец ли я. Я подтверждаю, и он сразу же спрашивает, как мне понравился Париж. Я отвечаю, хвалю город и тут вижу, как в ложу слева от меня входит женщина непомерной толщины, вся в драгоценностях.

– А кто вон та жирная свинья? – спрашиваю я у толстяка соседа.

– Жена вот этого жирного свина.

– Ах, сударь! Миллион извинений.

Но человек этот вовсе не нуждался в моих извинениях: он не только не рассердился, но хохотал до упаду. Я был в отчаянии. Кончив смеяться, он встает, выходит из амфитеатра, и минутою позже я вижу, как он в ложе разговаривает с женою и оба смеются. Я уже решил было уйти вовсе из театра, как тут, слышу, он меня зовет:

– Сударь, сударь!

Не отвечать было бы неучтиво, и я подхожу к ложе. На сей раз он с серьезным и весьма достойным видом просит прощения за свой смех и приглашает оказать ему величайшую милость и пожаловать сей же вечер к нему на ужин. Поблагодарив, я отвечаю, что уже зван. Он продолжает настаивать, дама к нему присоединяется, и я, дабы убедить их, что это не отговорка, говорю, что зван к Сильвии.

– Уверен, – говорит он, – что мне удастся отменить ваше приглашение, если вы не возражаете; я сам ее попрошу.

Я уступаю; он идет и после возвращается с Баллетти, который передает, что матушка его счастлива столь прекрасными моими знакомствами и ждет меня завтра к обеду. Украдкой Баллетти шепнул, что это г-н де Бошан, главный сборщик налогов.

Когда комедия кончилась, я подал г-же де Бошан руку и сел в их карету. Дом их был полной чашей – как у всех людей подобного сорта в Париже: большое общество, игра на деньги по-крупному, шумное веселье за столом. Из-за стола поднялись в час пополудни, и меня отвезли домой. Дом этот был мне открыт во все время, что провел я в Париже, и оказался весьма полезен. Правы те, кто говорит, будто иностранцы в Париже скучают по меньшей мере в первые две недели: чтобы войти в общество, надобно время. Однако ж сам я уже в первый день был приглашен и уверен, что скучать не придется.

Назавтра с утра явился ко мне Патю и подарил написанное им в прозе похвальное слово маршалу Саксонскому. Мы вышли вместе и отправились завтракать в Тюильри. Там он представил меня госпоже дю Бокаж, каковая, заговорив о маршале Саксонском, остроумно пошутила:

– Не удивительно ли, что мы никак не могли прочесть *de profundis*⁸⁷ человеку, благодаря которому столько раз пели *Te Deum*⁸⁸?

Затем Патю отвел меня к знаменитой оперной актрисе, которую звали Лефель, любимице всего Парижа и женщине – члену Королевской академии музыки. У нее было трое маленьких очаровательных детишек, что порхали по всему дому.

– Обожаю их, – сказала она.

– Все трое красивы, – отвечал я, – и каждый не похож на другого.

– Еще бы. Старший – сын герцога д'Анеси, тот – графа Эгмона, а младший – сын Мезонружа, того, что женился недавно на девице Роменвиль.

– Ах, ах! Простите великодушно. Я полагал, вы мать всех троих.

– А я и есть их мать.

⁸⁷ Из глубины <взываю> (лат.; начало заупокойной молитвы).

⁸⁸ Тебя, Господи <славим> (лат.; католический благодарственный гимн). Маршал Морис Саксонский был протестантом, и потому по нему не могли читать католическую молитву. Слово это, по уверению Мармонтеля, обронила Мария Лещинская, королева Франции.

С этими словами глядит она на Патю и вместе с ним заливается хохотом, а я краснею до ушей. Я был новичок. Мне непривычно было слышать, чтобы женщина открыто попирала мужские права. Девушка Лефель отнюдь не была бесстыдна – просто честна и выше предрассудков. Знатные господа, отцы этих маленьких бастардов, оставили их матери и платили за воспитание, так что та не знала ни в чем нужды. Неопытность моя по части французских нравов приводила к жестоким недоразумениям. После того допроса, что устроил я девушке Лефель, она бы засмеялась в лицо любому, кто бы решился назвать меня неглупым человеком.

В другой раз повстречал я у Лани, учителя балета из Оперы, четырех или пятерых девушек; каждую сопровождала мать. Лани давал им уроки танцев. Всем было тринадцать-четырнадцать лет, и все на вид скромны, невинны и воспитанны. Я говорил им приятные вещи, они отвечали, потупив глаза. У одной болела голова, я даю ей понюхать мелиссовой воды, а подруга ее спрашивает, хорошо ли она выпалась.

– Это не от того, – отвечает дитя, – я, кажется, беременна. Не ожидав услышать подобного ответа, я говорю, как последний осел:

– Никогда бы не подумал, сударыня, что вы замужем.

Она глядит на меня, потом оборачивается к другой, и обе принимаются смеяться от всей души. Я удалился пристыженный и решился впредь не рассчитывать, что в театральных девицах найдется хотя бы капля стыда. Они все похваляются бесстыдством и почитают дураком всякого, кто станет обходиться с ними иначе.

Патю познакомил меня со всеми сколько-нибудь известными девицами; он любил прекрасный пол не менее моего, но, к несчастью своему, не был наделен столь же бурным темпераментом, и заплатил за эту любовь жизнью. Проживи он дольше, стать бы ему вторым Вольтером. Умер он тридцати лет от роду в Сен-Жан-де-Морьен, возвращаясь во Францию из Рима. От него узнал я секрет, какой употребляют здесь многие молодые сочинители, когда надобно им написать что-либо возможно прекраснейшей прозой, как, например, похвальное слово, надгробную речь, посвящение, и желают они достигнуть совершенства в прозе. Открыл мне секрет этот сам Патю, которого я застиг врасплох.

Однажды утром увидел я у него на столе листки, исписанные белыми александрийскими стихами; прочитав с дюжину их, я сказал, что хотя они и хороши, но доставляют более муку, нежели удовольствие, и добавил, что гораздо более стихов понравилось мне то же место в похвальном слове маршалу Саксонскому, написанном прозой.

– Проза моя тебе не понравилась бы так, когда б я прежде не записал все, что желал сказать, белым стихом.

– Но значит, ты понапрасну совершил тяжкий труд.

– Никакого труда нерифмованные стихи не стоят. Их пишешь так же, как прозу.

– И ты полагаешь, будто проза твоя становится красивей, если списать ее с собственных стихов?

– Полагаю, ибо так оно и есть; она становится красивей, и к тому же я спокоен, что в ней не будет в избытке полустихий – в прозе порок этот возникает сам собою, незаметно для пишущего.

– Разве это порок?

– Величайший – и непростительный. Проза, наспигованная случайными стихами, хуже даже прозаической поэзии.

– И правда, невольные стихи в какой-нибудь речи звучат, должно быть, дурно, да и сами по себе, надо полагать, нехороши.

– Без сомнения. Вот, к примеру, Тацитова история начинается словами: *Urbem Romam a principio reges habuere*⁸⁹. Это сквернейший гекзаметр, каковой он, конечно же, написал случайно, а после не распознал – иначе построил бы фразу по-другому. Разве у вас, итальянцев, случайные стихи не портят прозы?

– Портят, и весьма. Однако, скажу тебе, многие обделенные дарованием нарочно вставляют в прозу стихи, дабы придать ей звучности; они тешатся надеждой, что вся эта мишура сойдет за золото и читатели ничего не заметят. Но ты, верно, единственный, кто по доброй воле вершит подобный труд.

– Единственный? Ты ошибаешься. Так делают все, кому стихи, как мне, ничего не стоят и кто должен сам перебеливать написанное. Спроси у Кребийона, у аббата де Вуазенона, у Лагарпа⁹⁰, у кого пожелаешь, всякий скажет тебе то же, что я. Первым к искусству этому прибегнул Вольтер в своих мелких вещах; проза в них несравненна. Из их числа, к примеру, послание к госпоже дю Шатле; оно великолепно; почитай и, коли найдешь хоть одно полустихие, скажи, что я не прав.

Я спросил у Кребийона, и он отвечал то же самое; однако уверял, что сам никогда этого не делал.

Патю не терпелось отвести меня в Оперу и поглядеть, какое действие произведет на душу мою сие зрелище; и в самом деле, итальянцу должно было показаться оно изумительным. Давали оперу под названием «Венецианские Празднества»⁹¹. Название занимательное. Мы платим сорок су и идем в партер: там надобно стоять, и собирается хорошее общество. Спектакль был из тех, какими наслаждается вся нация без изъятия. *Solus Gallus cantat*⁹².

Оркестр блистательно исполняет увертюру, весьма красивую в своем роде, занавес поднимается; предо мною декорация, на которой представлена малая площадь Св. Марка, какой видится она с островка Св. Георгия. И я с изумлением замечаю, что дворец дождей от меня слева, а прокурации и большая колокольня – справа. Подобная ошибка, потешная и для моего века постыдная, насмешила меня; расскажи я о ней Патю, он бы тоже посмеялся. Музыка, хотя и красивая, в античном духе, поначалу развлекает меня немного своей новизною, но после нагоняет скуку, а мелопея выводит из терпения однообразностью и воплями невпопад⁹³. Французы утверждают, что сия мелопея есть у них замена мелопее греческой и нашему речитативу, каковой они презирают, – но презирали бы менее, когда бы понимали наш язык.

Что же до ошибки в перспективе, то ее отношу я на счет грубого невежества художника, дурно срисовавшего какой-нибудь эстамп. Когда б увидел он на нем мужчин со шпагою справа, то не догадался бы, что если ему она видится справа, то на самом деле должна быть слева.

Действие происходило в один из дней карнавала, когда венецианцы в масках идут на большую площадь Св. Марка на гулянье; представлены были ухажеры, сводни и девицы, что завязывали и развязывали разные интриги; костюмы все были неправильные, но забавные. Но особенно развеселило меня, когда вышел вдруг из кулис сам дож с двенадцатью советниками, все в немых каких-то тогах, и они пустились танцевать большую пасакалью. Внезапно слышу я, как весь партер бьет в ладоши, и вижу высокого красивого танцовщика в маске и черном парике с длинными локонами, спускавшимися ему почти до пояса; одет он

⁸⁹ Городом Римом от его начала правили цари (лат.) (Тацит. Анналы, I, 1 / Пер. А. Бобовича).

⁹⁰ Знаменитому критику и литератору в 1750 г. было 11 лет.

⁹¹ «Венецианские Празднества» – опера-балет на музыку Кампра, хореография Данше; впервые поставлена в 1710 г., восстановлена в 1750 г.

⁹² Только петух поет (лат.) (ср.: «Прежде чем петух закричит». Плавт. Хвастливый воин, 689–690 / Пер. А. Артюшкова).

⁹³ Того же мнения были и К. Гольдони и Ж. – Ж. Руссо.

был в открытое спереди платье длиною до пят. Патю в священном трепете говорит мне проникновенно, что предо мною великий Дюпре. Я о нем слышал и теперь принимаюсь внимательно смотреть. Сия стройная фигура приближается в такт музыке и, подойдя к краю сцены, медленно поднимает округленные руки, помогает ими с изяществом, выпрямляет совсем, потом сжимает, переступает ногами, делает шажки, несильно бьет ногою об ногу и после пируэта, пятась, исчезает в кулисе. Все это па у Дюпре продолжалось всего с полминуты. Партер и ложи единодушно рукоплескали; я спрашиваю Патю, что означает сей плеск, и он отвечает серьезно, что все аплодировали совершенствам Дюпре и божественной гармонии его движений. Ему, сказал он, шестьдесят лет, и он все тот же, что и сорок лет назад.

– Как? Он всегда танцевал только так, никогда иначе?

– Он не мог никогда танцевать лучше, ибо тот выход, что ты видел, совершенен, а выше совершенства ничего быть не может. Танцует он всегда одно и то же, но нам всегда является новым – такова проникающая в душу сила прекрасного, доброго, правдивого. Вот истинный танец, такой, как песня; у вас в Италии о нем и понятия не имеют.

В конце второго акта вдруг снова выходит Дюпре, само собою, в маске, закрывающей лицо, и танцует уже под другую мелодию, но, на мой взгляд, то же самое. Он приближается к краю сцены, на миг фигура его – весьма красиво очерченная, нельзя не признать – замирает, и неожиданно доносится до меня шепот сотни голосов в партере:

– О Боже! Боже! он поднимает ногу, он поднимает ногу!

И в самом деле: казалось, тело его растягивается и, подымая ногу, становится выше. Я согласился, что во всем этом есть изящество, и Патю был доволен. Вдруг после Дюпре является на сцене танцовщица и начинает словно безумная носиться по ней из конца в конец, делая быстрые антраша вправо и влево, но не отрываясь от пола; все хлопают что было силы.

– Это знаменитая Камарго, друг мой, – как вовремя ты приехал в Париж! Ей тоже шестьдесят лет. Она первая из танцовщиц решилась прыгать, прежде танцовщицы не прыгали; поразительно в ней то, что она не носит панталон⁹⁴.

– Прости, но я их видел.

– Что ты видел? Это ее кожа: она, говоря по правде, белизною не отличается.

– Камарго мне не нравится, – говорю я с покаянным видом, – я предпочитаю Дюпре.

Один древний старик, рьяный ее поклонник, что стоял от меня слева, сказал, что в молодости делала она баскский прыжок и даже полупируэты, но он никогда не видел ее ляжек, хотя и танцевала она без панталон.

– Но, не видав ее ляжек, как можете вы поручиться, что на ней не было панталон?

– О! такие вещи узнать нетрудно. Вы, сударь, я вижу, иностранец.

– О да, будьте покойны.

Понравилось мне во французской опере то, как по свистку послушно переменялась декорация; и еще как поводкой смычком по струнам давали знак оркестру начинать. Но сочинитель музыки с жезлом в руках сразил меня: он с такою силой размахивал им вправо и влево, словно все инструменты были на пружинах и иначе не смогли бы играть. Еще доставило мне удовольствие молчание зрителей. В Италии всех приводит в справедливое негодование тот несносный шум, что поднимается обыкновенно во время пения; но что смешно, когда исполняют балетные сцены, все хранят тишину. Нет на земле места, где бы наблюдатель, если он иностранец, не обнаружил какого чудачества; если ж он местный житель, то попросту ничего не заметит.

Много приятного доставила мне Французская комедия. Величайшим удовольствием было ходить туда в те дни, когда давали старинных авторов и зрителей не набиралось и двух

⁹⁴ Во Франции XVIII в. считалось, что женщине неприлично носить панталоны: если она их надевает, значит, не умеет соблюдать приличия, вести себя достойно.

сотен. Я видел «Мизантропа», «Скупого», «Игрока», «Тщеславного»⁹⁵ и воображал себе, что нахожусь на первом спектакле. Я приехал, когда еще живы были Саразен, Гранваль, и жена его, и девицы Данжевиль, Дюмениль, Госсен, Клерон, госпожа Превиль и множество других актрис, каковые, покинув сцену, жили на свой пенсион; среди них была и девица Левассёр. Я с удовольствием беседовал с ними – они рассказывали мне упоительные истории, а сверх того были весьма услужливы. Давали однажды трагедию, где роль жрицы без слов исполняла одна прелестная актриса.

– Как она хороша! – говорю я одной из этих матрон.

– Да, она милашка. Это дочь того актера, что играет наперсника. Весьма любезна в обществе и подает большие надежды.

– Я бы с удовольствием познакомился с нею.

– О Боже! Что же здесь трудного? Отец и мать ее – сама порядочность; уверена, они будут счастливы, если вы попроситесь к ужину, и не станут вас стеснять – уйдут спать и оставят вас болтать за столом с малышкой, сколько вам будет угодно. Вы, сударь, во Франции, а здесь знают цену жизни и стараются наслаждаться ею. Мы любим удовольствия и, когда можем помогать в них, почитаем себя счастливыми.

– Строй ваших мыслей божествен, сударыня; но с каким, по-вашему, видом должен я проситься к ужину к честным людям, с которыми незнаком?

– О Боже! Что вы такое говорите? Мы знакомы со всеми. Разве не видите вы, как я обращаюсь с вами? Разве по мне скажешь, что я с вами незнакома? После комедии я вас представлю.

– Я просил бы вас, сударыня, доставить мне эту честь в другой день.

– Когда вам будет угодно, сударь.

⁹⁵ «Мизантроп» (1666) и «Скупой» (1668) – комедии Мольера, «Игрок» (1696) – Ж. Ф. Реньяра, «Тщеславный» (1732) – Ф. Нерсиа-Детуша.

Глава IX

Мои нелепые ошибки во французском языке, успехи и многочисленные знакомства. Людовик XV. Мой брат приезжает в Париж

Все итальянские актеры Парижа желали явиться мне во всем великолепии. Меня звали к обеду и ужину и повсюду принимали с почестями. Любимец всего Парижа Карлин Бертинацци, игравший Арлекина, напомнил мне, что мы встречались тринадцатью годами прежде в Падуе: он тогда вместе с матерью моей возвращался из Петербурга. Он задал в мою честь прекрасный обед у госпожи де Лакайери, у которой жил. Дама эта была в него влюблена. Четверо ее детей порхали по дому; я похвалил ее мужу прелестных малышей, и тот отвечал, что все они дети Карлина.

— Быть может, но пока именно вы заботитесь о них, и вас должны они почитать за отца, имя которого станут носить.

— Да, так было бы справедливо; но Карлин слишком порядочный человек, чтобы не взять их на попечение, когда бы мне вдруг явилась мысль от них избавиться. Он прекрасно знает, что дети его, и жена моя первая станет жаловаться, если он не согласится.

Так рассуждал и так изъяснялся, совсем безмятежно, сей честный человек. Он любил Карлина не менее жены, с тою лишь разницей, что последствия его нежности были не те, от которых рождаются дети. Среди определенного свойства людей дела такие случаются в Париже нередко. Двое сеньоров из самых знатных во Франции не моргнув глазом обменялись женами, и родившиеся дети носили имя не настоящего отца, но мужа матери: произошло это отнюдь не в стародавние времена (Буфлер и Люксембург), и потомки тех детей нынче имеют те же имена. Те, кто знает, как было дело, смеются — и правы. Смеяться — законное право тех, кто знает, как все было на самом деле.

Самым богатым из итальянских актеров был Панталоне, отец двух дочерей, Коралины и Камиллы, каковой, помимо прочего, умел ссужать под залог деньги и тем жил. Ему было угодно пригласить меня на семейный обед. Сестры совсем очаровали меня. Коралина была на содержании у князя Монакского, сына герцога де Валентинуа, который тогда был еще жив, а Камилла была возлюбленною графа де Мельфора, фаворита герцогини Шартрской, которая в те поры, после смерти свекра, стала герцогиней Орлеанской.

Коралина была не столь пылка, как Камилла, но зато красивее; я стал приходить к ней в неурочные часы, как человек ничтожный: однако и неурочные часы принадлежат содержанию, так что несколько раз случилось мне там оказаться, когда князь приезжал ее проводить. В первые встречи я откланивался и удалялся, но после мне предлагали остаться, ибо князя не знают, чем заняться наедине со своими любовницами. Мы ужинали втроем, и все их занятие состояло в том, чтобы глядеть на меня, слушать и смеяться, мое же — в том, чтобы есть и говорить.

Я почел своим долгом по временам свидетельствовать князю почтение; жил он в отели Матиньон на улице Варенн.

— Рад видеть вас, — сказал он мне однажды утром. — Я обещал герцогине де Рюфек привезти вас, и мы отправимся тотчас же.

Еще одна герцогиня: что может быть лучше? Мы садимся в дьябль⁹⁶, модную карету, и в одиннадцать часов утра являемся к герцогине. Предо мною женщина шестидесяти лет,

⁹⁶ Дьябль — элегантный четырехколесный кабриолет.

нарумяненная, краснощекая, тощая, безобразная и увялая; она сидит в непристойной позе на софе и при моем появлении восклицает:

– *Ах! Какой красивый мальчик!* Князь, ты прелесть. Сядь ко мне сюда, мой мальчик.

Удивленный, я повинуюсь – и тут же отшатываюсь из-за невыносимой мускусной вони. Предо мною мерзкая грудь, которую мегера всю выставила напоказ, соски, покрытые мушками, но оттого не менее явственные. Где я? Князь удаляется, говоря, что придет за мной свой дьябл через полчаса и станет ждать меня у Коралины.

Едва князь вышел, как эта гарпия нападает на меня врасплох и дарует слюнявыми губами поцелуй, каковой я, быть может, и проглотил бы; но она в тот же миг тянет костлявую свою руку туда, куда стремится гнусная ее душа в дьявольском раже, и говорит:

– *Посмотрим, хороши ли у тебя...*

– Ах! Боже мой! Госпожа герцогиня!

– Ты бежишь меня? Что такое? Ты же не ребенок.

– Да, сударыня. Но...

– Что?

– У меня, я не могу, не смею...

– Да что там у тебя?

– У меня шанкр.

– Ах, грязная свинья!

Она в гневе встает, я тоже и скорей бегу к дверям и вон из дома в страхе, как бы швейцар не остановил меня. Взяв фиакр, отправляюсь я к Коралине и в этих самых словах рассказываю скверное свое приключение; она хохотала от души, однако ж согласилась, что князь сыграл со мною кровожадную шутку, и похвалила находчивость, с какой выпутался я из этой гнусной истории – но не дала мне способа ее убедить, что я обманул герцогиню. И все же я не терял надежды. Я знал: она полагает, что я недостаточно влюблен.

Тремя или четырьмя днями позже наговорил я ей за ужином столько всего и столь прозрачно испросил отставки, что она обещала назавтра вознаградить мою нежность.

– Князь Монакский возвратится из Версаля только послезавтра, – сказала она. – Завтра мы с вами отправимся в заказную рощу, поохотимся на кроликов с хорьком, отобедаем наедине и вернемся в Париж довольные.

– В добрый час.

Назавтра в десять часов садимся мы в кабриолет, и вот уже застава Вожиар; только проезжаем ее, как тут встречается нам визави чужестранного вида: стой, стой!

То был кавалер Виртембергский, каковой, не удостоив меня и взглядом, начинает говорить Коралине нежности, а после, выставив голову свою наружу, шепчет ей что-то на ухо, она отвечает ему тем же, он говорит еще, и она, немного подумав, берет меня за руку и объявляет со смехом:

– У меня до этого государя большое дело; отправляйтесь, друг мой, в рощу, пообедайте, поохотьтесь, а завтра приходите ко мне.

И с этими словами выходит, садится в визави и оставляет меня с носом.

Если читателю доводилось быть в положении, подобном моему, ему нет нужды объяснять, какой охватил меня в ту подлую минуту гнев, а остальным я ничего объяснить не сумею. Ни минуты не пожелал я оставаться долее в проклятом кабриолете; велел слуге убираться ко всем чертям, взял первый попавшийся фиакр и отправился к Патю, каковому, пылая гневом, поведал, что со мною приключилось. Патю нашел, что приключение мое забавно, обыкновенно и в порядке вещей.

– Как в порядке вещей?

– Именно так, ибо нет такого тайного хахалы, с которым бы не могло случиться чего-либо подобного; если он неглуп, то должен быть готов сносить неприятности. Что до меня,

то я даже ревную: если б со мною завтра случилась подобная досада, я бы ничего не имел против. Поздравляю. Завтра ты, наверное, получишь Коралину.

– Она мне больше не нужна.

– Это дело другое. Хочешь, отправимся обедать в Отель дю Руль?

– Черт возьми, да. Отличная мысль! Едем.

Отель дю Руль славился в Париже. В два месяца, что я здесь прожил, мне еще не случилось в нем бывать, и я сгорал от любопытства. Содержательница его, купив дом и прекрасно его обставив, поместила в нем двенадцать-четырнадцать отборных девиц. У нее был хороший повар, доброе вино, отменные постели, и принимала она всякого, кто являлся к ней с визитом. Звали ее Мадам Париж, она находилась под защитой полиции; располагалось заведение в некотором удалении от Парижа, а потому Мадам была уверена, что явится к ней лишь человек приличный: пешком туда идти было слишком далеко. Порядок у нее был исключительный; всякому удовольствию положена была твердая цена. Платили недорого: шесть франков за то, чтобы позавтракать с девицею, двенадцать – за обед и луидор – за ужин и ночлег. То был образцовый дом, о нем говорили с восхищением. Мне не терпелось туда попасть: я считал, что это лучше заказной рощи.

Садимся в фиакр, и Патю говорит кучеру:

– *К Воротам Шайо.*

– Слушаю, почтенный.

Он довез нас в полчаса и остановился у ворот с надписью «Отель дю Руль». Ворота были закрыты. Из задней двери является уса́тый слуга, глядит на нас и, оставшись доволен нашими физиономиями, открывает дверь. Мы отсылаем фиакр и входим, а он запирает дверь на ключ. Учи́тая женщина лет пятидесяти на вид, хорошо одетая и без одного глаза, спрашивает, желаем ли мы у нее отобедать и повидать ее девушек. Мы отвечаем утвердительно, и она ведет нас в залу, где сидят полукругом четырнадцать девиц в одинаковых платьях из белого муслина и с шитьем в руках; за́видев нас, они встают и все разом встречают нас глупо́ким реверансом. Все хорошо причесаны, почти одних лет, и все красавицы – кто высокого роста, кто среднего, кто маленького, брюнетки, блондинки, шатенки. Мы обходим их всех, с каждой перебрасываемся парой слов, и вот Патю выбирает себе девицу, и я в тот же миг обзавожусь своей. Обе избранницы бросаются с криком радости нам на шею и уводят из залы в сад, куда не позвали обедать. Мадам Париж оставляет нас со словами:

– *Ступайте, господа, гуляйте в моем саду, наслаждайтесь свежим воздухом, миром, покоем и тишиной, царящей в моем доме; ручаюсь вам, что выбранные вами девушки в добром здравии.*

После короткой прогулки каждый ведет свою подружку в комнату на первом этаже. Моя избранница напоминала чем-то Коралину, и я немедленно воздал ей по заслугам. Нас позвали к столу, мы довольно хорошо пообедали, но едва выпили кофе, как является кривая хозяйка с часами в руках и зовет обеих девиц, говоря, что время наше вышло, но если заплатим мы другие шесть франков, то можем развлекаться до вечера. Патю отвечал, что охотно останется, но хочет выбрать другую; я того же мнения.

– Идемте, все в вашей власти.

Мы возвращаемся в сераль, выбираем новых девиц и идем гулять. Вторая ошибка, как и следовало ожидать, представилась нам чересчур быстрой. Нас известили, что время кончилось, в самый неподходящий момент: пришлось повиноваться и подчиниться правилам. Я отвел Патю в сторону, и, обменявшись философическими размышлениями, мы постановили, что удовольствия эти, отмеренные по часам, несовершенны.

– Идем опять в сераль, – говорю я, – выберем себе по третьей, и пусть нам поручатся, что она останется в нашей власти до завтра.

Патю мой замысел пришелся по нраву, и мы отправились сообщить его аббатисе, какая признала в нас людей умных. Но когда воротились мы снова в залу, дабы выбрать новых девиц, те, что с нами уже были, увидев, что отвергнуты и остальные над ними смеются, из мести ошарили нас и объявили, что мы деревенщина.

Но когда я увидел эту третью девицу, то поразился ее красоте. Я благодарил небо, что проглядел ее прежде: без сомнения, я мог бы иметь ее четырнадцать часов кряду. Звали ее Сент-Илер – та самая, что под этим самым именем прославилась год спустя, когда один милорд увез ее в Англию. Держалась она со мною надменно и презрительно; мне пришлось более часа гулять с нею, пока она не успокоилась. Она полагала, что я недостойн спать с нею, ибо дерзнул пропустить ее и в первый, и во второй раз. Но я показал ей, что мой недо-смотр обернулся на пользу нам обоим, она рассмеялась и стала совсем мила ко мне. Девушка эта была умна, образованна и наделена всем необходимым, дабы преуспеть в избранном ремесле. За ужином Патю сказал мне по-итальянски, что я опередил его лишь на миг, но дней через пять или шесть он хочет тоже заполучить ее. На завтра он уверял, что всю ночь напролет спал; но я провел ее по-другому. Девица Сент-Илер была весьма мною довольна и хвастала перед своими товарками. Я больше десятка раз приезжал к Мадам Париж, пока не перебрался в Фонтенбло, и ни разу не осмелился взять другую девушку. Сент-Илер гордилась, что сумела меня удержать.

Отель дю Руль стал причиною тому, что я охладел к Коралине и перестал ее преследовать. Через две или три недели после моей ссоры с Коралиной увлек ее один венецианский музыкант по имени Гуаданьи, красивый, искусный в своем ремесле и весьма остроумный. Красивый мальчик, что был мужчиною лишь с виду, возбудил в Коралине любопытство и стал причиною разрыва ее с князем Монакским, каковой застал ее с поличным. Но не прошло и месяца, как ей удалось помириться с князем, да так искренне, что через девять месяцев она принесла ему младенца, девочку, которую назвала Аделаидой; князь назначил ей приданое. Потом, после смерти герцога де Валентинуа, князь оставил Коралину и женился на девице Бриньоль, генуэзке, а она стала любовницей графа де Ламарша, каковой теперь принц Конти. Ныне Коралины нет в живых, равно как и сына ее от этого принца, которому даровал он имя графа де Монреалья. Но вернемся ко мне.

В то время госпожа Супруга дофина разродилась принцессою, каковая сразу названа была наследницей. В августе видел я в Лувре новые картины, что выставили для публики художники из Королевской академии живописи, и, не приметив ни одной батальной, замыслил пригласить в Париж брата моего Франческо, что жил в Венеции и наделен был дарованием в этом самом жанре. Пароселли, единственный во Франции баталист, скончался, и я решил, что брат может добиться здесь успеха; отписав г-ну Гримани и самому брату, я убедил их, но брат приехал в Париж лишь в начале следующего года.

Король Людовик XV был страстный охотник и всякий год осенью непременно проводил полтора месяца в Фонтенбло. В Версаль он возвращался всегда к середине ноября. Путешествие сие обходилось ему в пять миллионов; он вез с собою все, что могло служить к удовольствию всех иностранных посланников и своего двора. С ним ехали комедианты, французские и итальянские, и актеры и актрисы из Оперы. В те полтора месяца Фонтенбло во сто крат затмевал Версаль, и однако ж великий город Париж не лишался спектаклей. И опера, и французская комедия, и итальянская продолжали играть: актеров было так много, что возможно было заменить одних другими.

Марио, отец Баллетти, вполне оправился от болезни и должен был ехать туда с женою своею Сильвией и всем семейством; он пригласил меня ехать с ними и поселиться в нанятом им для себя доме. Я согласился: нельзя было и представить лучшего случая, чтобы узнать всех придворных Людовика XV и всех иностранных министров. Сразу же представился я г-ну Морозини, ныне Прокуратору собора Св. Марка, а тогда посланнику Республики при

дворе французского короля. В первый же день, когда давали оперу, позволил он мне сопровождать его; музыка была Люлли. Я уселся в паркет⁹⁷, в точности под ложей, где находилась г-жа де Помпадур, которой я не знал. В первой сцене является из кулис знаменитая девица *Лемор* и на втором же стихе испускает столь сильный и неожиданный вопль, что я испугался, не сошла ли она с ума; я негромко и вполне чистосердечно смеюсь, никак не предполагая, что меня могут дурно понять. Голубая лента⁹⁸, что сидел возле маркизы, сухо спрашивает меня, откуда я приехал, и я столь же сухо отвечаю, что из Венеции.

– Когда я был в Венеции, я тоже весьма смеялся над речитативом в ваших операх.

– Охотно верю, сударь, и уверен также, что никому и в голову не пришло помешать вам смеяться.

Мой несколько дерзкий ответ рассмешил г-жу де Помпадур, и она спросила, вправду ли я из тех краев.

– Каких именно?

– Из Венеции.

– Венеция, сударыня, не край, но центр.

Сей ответ найден был еще более диковинным, нежели первый, и вот уже вся ложа совещается, край Венеция или центр. По всему судя, сочли, что я прав, и оставили меня в покое. Я слушал оперу, не смеялся, но частенько сморкался, ибо у меня был насморк. Та же неизвестная мне голубая лента, каковой оказался маршалом де Ришелье, сказал, что у меня в комнате, должно быть, сквозит из окон.

– Прошу прощения, сударь, но окна у меня затворены *предельно* плотно.

Все расхохотались, а я, заметив, что дурно произнес слово «предельно», был совсем убит и сидел с пристыженным видом. Получасом позже г-н де Ришелье спрашивает, которая из двух актрис кажется мне красивее.

– Вон та.

– У нее отвратительные ноги.

– Их, сударь, не видно, и потом, когда я оцениваю красивую женщину, то первым делом берусь не за ноги.

Случайная эта острота, силы которой я сам не понимал, доставила мне уважение и привлекла ко мне интерес всего сидевшего в ложе общества. Маршал справился, кто я, у самого г-на Морозини, каковой сказал мне, что ему доставит удовольствие считать меня в числе своих приближенных. Острота моя стала знаменита, и маршал де Ришелье был со мною весьма любезен. Из всех иностранных министров более всего сблизился я с милордом маршалом Шотландии Китом, что представлял прусского короля. У меня еще будет случай рассказать о нем.

Через день после приезда в Фонтенбло отправился я в одиночестве ко двору. Я видел, как идет к мессе красавец король, и все королевское семейство, и все придворные дамы – каковые поразили меня безобразием, как туринские поразили красотой. Однако ж среди множества безобразных лиц увидел я одну редкостную красавицу и спросил у кого-то, как эту даму зовут.

– Это, сударь, госпожа де Брионн; ум ее ни в чем не уступает красоте: о ней не только не ходит никаких сплетен, но даже и повода для того, чтобы их выдумать, ни разу не подала она злым языкам.

– Быть может, просто никто ничего не знал.

– Ах, сударь, при дворе знают все.

⁹⁷ Между оркестром и партером.

⁹⁸ Голубая лента – кавалер ордена Святого Духа.

Я бродил в одиночестве повсюду, добрался и до королевских покоев и тут увидел десять-двенадцать некрасивых дам, которые, казалось, не шли, но бежали, да так неловко, словно сейчас упадут ничком. Я спрашиваю, откуда они идут и отчего так неловко ходят.

– Они выходят от королевы, каковая будет сейчас обедать, а ходят неловко оттого, что каблук у их туфель в полфута высотой, и они принуждены двигаться на согнутых ногах.

– Отчего бы им не носить каблуки пониже?

– Оттого, что им кажется, будто так они выглядят выше.

Я вступаю в какую-то галерею и вижу, как мимо проходит король, обнявши за плечи г-на д'Аржансона. У Людовика XV была восхитительной красоты голова и посажена как нельзя лучше. Ни одному искусному художнику не удалось изобразить поворот головы сего монарха, когда он оборачивался к кому-нибудь. Всякий, кто видел его, в тот же миг чувствовал, что не в силах его не любить. Тогда мне показалось, будто предо мною воплощенное величие, которого тщетно искал я в чертах короля Сардинии. Я проникся уверенностью, что г-жа де Помпадур влюбилась в одно лицо его при первом же знакомстве. Быть может, все было не так, но облик Людовика XV с неизбежностью заставлял наблюдателя прийти к этой мысли.

Вхожу я в залу и вижу десять-двенадцать прохаживающихся придворных и обеденный стол на двенадцать человек, на котором, однако, стоит лишь один прибор.

– Для кого накрыт этот стол?

– Для королевы, она сейчас будет обедать. А вот и она.

Предо мною королева французская – на вид набожная старушка, не нарумяненная, в большом чепце; две монахини ставят на стол тарелку со свежим маслом, и она благодарит. Едва королева усаживается, как десять-двенадцать прохаживавшихся придворных становятся полукругом у стола на расстоянии десяти шагов, и я с ними; все хранят глубокое молчание.

Королева начинает есть, ни на кого не глядя и уставивши глаза в тарелку. Отведав от какого-то блюда и найдя его по своему вкусу, она взяла еще, но, прежде чем взять, обвела глазами всех присутствующих, желая, как видно, узнать, не надобно ли ей кому поведать, какая она лакомка. Обнаружив такого человека, она обратилась к нему со словами:

– Господин де Ловендаль.

Услыхав это имя, я вижу, как один красавец двумя дюймами выше меня делает, склонивши голову, три шага к столу и отвечает:

– Мадам?

– Полагаю, что фрикассе из цыпленка лучше всякого другого рагу.

– И я того же мнения, Мадам.

Получив сей ответ, произнесенный наисерьезнейшим тоном, королева продолжает есть, а маршал де Ловендаль делает три шага назад и становится на прежнее свое место. Больше королева не произнесла ни слова и, кончив обедать, возвратилась в свои покои.

Я был в восторге: случай этот позволил мне узнать знаменитого воителя, который взял Берг-оп-Зум⁹⁹ и на которого я страстно желал взглянуть. И воитель сей, спрошенный королевою относительно достоинств фрикассе, изъясляет мнение свое тем же тоном, словно произносит смертный приговор на военном совете! Обогатившись подобным анекдотом, я несу его к Сильвии, дабы за изысканным обедом потчевать им собравшийся цвет приятного общества.

Восемью или десятью днями позже стою я в десять часов на галерее, в ряду с другими, кто желает доставить себе вечно новое удовольствие посмотреть, как король идет к мессе, и еще одно, особенное, видеть оконечности грудей дочерей его, наследных принцесс, како-

⁹⁹ Берг-оп-Зум – крепость в Брабанте. Ловендаль взял ее в 1747 г., во время войны за австрийское наследство.

вые одеты были так, что выставляли их, вместе с обнаженными плечами, напоказ, – стою и вдруг с изумлением вижу девицу Шерстомойку, Джульетту, которую оставил я в Чезене под именем г-жи Кверини. Я удивился, но она, заметив меня в подобном месте, удивилась не менее. Она была под руку с маркизом де Сен-Симоном, первым палатным дворянином принца Конде.

– Госпожа Кверини в Фонтенбло?

– Вы здесь? Не могу не припомнить королеву Елизавету – она сказала: *Pauper ubique jacet*¹⁰⁰.

– Весьма точное сравнение, сударыня.

– Шучу, дорогой друг; я приехала, дабы видеть короля, он меня не знает, но завтра посланник представит меня.

Она встает в ряд пятью-шестью шагами впереди меня, ближе к двери, откуда должен был выйти король. Король появляется вместе с г-ном де Ришелье, немедля направляет лорнет на пресловутую г-жу Кверини и, не останавливаясь, произносит *своему другу*, как я слышу, такие точно слова:

– *У нас здесь есть и по красивее.*

После обеда отправляюсь я к венецианскому посланнику и нахожу у него большое общество за десертом; сам он сидит рядом с г-жой Кверини, каковая, завидев меня, стала осыпать любезностями – вещь для этой ветреницы необычайная, ибо любить меня у нее не было ни резонов, ни причин: она знала, что я вижу ее насквозь и знаю, как надобно с нею обращаться. Но я понимаю, в чем дело, и решаюсь сделать все, чтобы доставить ей удовольствие, и даже, если нужно, стать лжесвидетелем.

Она упомянула о г-не Кверини, и посланник одобряет его за то, что он воздал ей по заслугам и женился на ней.

– Я даже об этом не знал, – говорит посланник.

– И однако ж тому уже два года, – отвечает Джульетта.

– Это истинная правда, – обращаюсь я тогда к посланнику, – два года назад генерал Спада представил госпожу Кверини, под этим самым именем, всему дворянству Чезены, где я тогда имел честь находиться.

– Не сомневаюсь, – говорит посланник, глядя на меня, – ведь и сам Кверини пишет мне об этом.

Когда собрался я уходить, посланник отвел меня в другую комнату под предлогом, что якобы желает показать мне одно письмо, и спросил, что говорят в Венеции об этом браке. Я отвечал, что о нем никто не знает и поговаривают даже, будто старший из семейства Кверини собирается жениться на девице Гримани¹⁰¹.

– Послезавтра отпишу эту новость в Венецию.

– Какую новость?

– Что Джульетта и вправду Кверини, поскольку Ваше Превосходительство завтра представит ее Людовику XV.

– Кто вам сказал, что я ее представляю?

– Она сама.

– Должно быть, теперь она передумала.

Тогда я передал ему в точности слова, каковые услышал из уст короля, и он догадался, отчего у Джульетты пропала охота быть представленной. После мессы г-н де Сен-Кентен, тайный министр короля по особым поручениям, явился собственной персоной к красавице венецианке и сказал, что у короля Франции дурной вкус, ибо он нашел ее не красивей дру-

¹⁰⁰ Бедняк людям не нужен нигде (*лат.*) (Овидий. Фасты, I, 218/ Пер. Ф. Петровского).

¹⁰¹ Стефано Кверини женился на Марине Гримани только через семь лет, в 1757 г.

гих придворных дам. Назавтра рано утром Джульетта покинула Фонтенбло. В начале своих Мемуаров писал я о красоте Джульетты; в лице ее было очарование неизъяснимое, однако в ту пору, когда увидел я ее в Фонтенбло, оно отчасти поблекло; сверх того, она пользовалась белилами, а этой уловки французы не прощают – и правы, ибо белила скрывают природный цвет. Но все же женщины, избравшие ремеслом своим нравиться, никогда не откажутся от белил, ибо надеются повстречать человека, который бы принял их за чистую монету.

Вернувшись из Фонтенбло, я повстречал Джульетту у венецианского посланника; она со смехом сказала, что пошутила, назвавшись г-жою Кверини, и просила впредь доставить ей удовольствие и называть настоящим ее именем – графиня Преати; она приглашала меня приходить к ней в Люксембургскую отель, где снимала комнаты. Я частенько навещался туда, дабы поразвлечься ее интригами, но сам никогда в них не участвовал. В четыре месяца, проведенных в Париже, свела она с ума г-на Дзанки. То был секретарь венецианского посольства, человек учтивый, благородный и образованный. Она влюбила его в себя, он изъявил готовность жениться, она дала ему надежду, а после обошлась с ним столь жестоко и вызвала такую ревность, что бедняга лишился рассудка и вскорости умер. Нравилась она графу фон Кауницу, посланнику царствующей Императрицы¹⁰², и графу фон Зинцендорфу тоже. Посредником в этих ее мимолетных связях был некий аббат Гуаско, человек отнюдь не богатый и весьма безобразный, каковой поэтому мог рассчитывать на ее милость, лишь сделавшись наперсником. Но выбор свой она остановила на маркизе де Сен-Симоне. Она хотела выйти за него замуж, и он бы женился, когда б она не дала ему ложных адресов, дабы справиться о ее происхождении. Веронский род Преати, к которому она себя причисляла, ее отверг, и г-н де Сен-Симон, сохранивший, несмотря на любовь, весь свой здравый смысл, нашел в себе силы расстаться с нею. В Париже дела ее шли неважно, ибо ей пришлось заложить все бриллианты. Воротившись в Венецию, она женила на себе сына того самого г-на Уччелли, каковой тому шестнадцать лет вытащил ее из нищеты и наставил на путь истинный. Умерла она десять лет назад.

В Париже я по-прежнему брал уроки у старика Кребийона, но, несмотря на это, мне нередко случалось, из-за того, что язык мой полон был итальянизмов, сказать что-нибудь в обществе помимо воли, и в речах моих почти всегда выходили весьма занятные шутки, которые затем все друг другу повторяли; однако испорченный язык вовсе не подавал никому повода усомниться в моем уме и, напротив, доставлял мне приятные знакомства. Многие дамы, имевшие в обществе вес, просили меня учить их итальянскому языку, дабы, как они говорили, доставить себе удовольствие наставлять меня во французском, и от сего обмена оказался я в выигрыше.

Однажды поутру г-жа Преодо, одна из моих учениц, приняла меня еще в постели и сказала, что ей не хочется учиться, ибо вечером она приняла лекарство. Я спросил, получилось ли у нее ночью *разгрузиться*.

– Что такое вы спрашиваете? Что это за диковина? Вы невыносимы.

– Черт побери, сударыня, для чего ж принимают лекарство, как не для того, чтобы разгрузиться?

– Лекарство прочищает, сударь, а не заставляет что-то там разгружать, и чтобы вы в последний раз в жизни употребили это слово.

– Теперь, подумав, я понимаю, что меня можно не так понять; но воля ваша, это слово приличное.

– Хотите позавтракать?

– Нет, сударыня, я уже завтракал. Выпил кофе с двумя савоярами.

– Ах, боже мой! Я пропала. Что за кровожадный завтрак! Объяснитесь.

¹⁰² Царствующая императрица – Мария-Терезия, австрийская императрица.

– Я выпил кофе, как всегда по утрам.

– Но это глупо, друг мой; кофе – это зерна, что продают в лавке, а то, что пьют, – это чашка кофе.

– Отлично! Что ж, вы пьете чашку? У нас в Италии говорят «кофе», и всем достает ума догадаться, что зерна не пьют.

– Он еще спорит! А как это вы проглотили сразу двух савояров?

– Обмакнув в кофе. Они были не больше тех, что лежат тут у вас на ночном столике.

– И это вы называете савоярами? Надо говорить «бисквиты».

– В Италии мы зовем их савоярами, сударыня, ибо мода на них пришла из Савойи, и я не виноват, что вы решили, будто я съел двоих рассыльных из тех, что торчат по углам улиц для услужения публике и которых зовете вы савоярами, хотя они, может статься, родом из совсем других мест. Впредь, применяясь к вашим обычаям, я стану говорить, что съел бисквиты; но позвольте заметить вам, что название «савояры» для них более подобает.

Тут является ее муж и, выслушав отчет о наших спорах, смеется и говорит, что я прав. Входит племянница ее, девица четырнадцати лет, разумная, сообразительная и очень скромная; я дал ей пять-шесть уроков, и так как она любила язык и весьма старалась, то начинала уже говорить на нем. Вот роковое приветствие, каким она встретила меня:

– *Signore sono incantata di vi vedere in buona salute*¹⁰³.

– Благодарю вас, мадмуазель, но чтобы передать слово «счастлива», надобно сказать «ho piacere». И еще: чтобы передать «видеть вас», надобно сказать «di vedervi», а не «di vi vedere».

– Я думала, сударь, что член «vi» вставляется перед словом.

– Нет, мадмуазель, мы этот член вставляем сзади¹⁰⁴.

Тут оба супруга покатываются со смеху, барышня краснеет, а я смущаюсь отчаянно, что сболтнул эдакую глупость; но слова не вернешь. Надувшись, берусь я за книгу в тщетном ожидании, чтобы кончили они наконец смеяться; но случилось это больше чем через неделю. Несносная эта двусмысленность обошла весь Париж, я бесился, но постигнул в конце концов силу языка, и с той поры успех мой поубавился. Кребийон долго хохотал, а потом объяснил, что надобно было сказать не «сзади», а «после». Так развлекались французы ошибками, что делал я в их языке, но я недурно отыгрывался, раскрывая некоторые его смехотворные обычаи.

– Сударь, – спрашиваю я, – как здоровье почтенной супруги вашей?

– Вы ей делаете много чести.

– Честь ее меня не волнует; я спрашиваю, как ее здоровье.

В Булонском лесу молодой человек падает с лошади; я бегу помочь ему подняться, но он уже проворно вскакивает на ноги.

– Не причинили ли вы себе какого вреда?

– Напротив, сударь.

– Стало быть, падение пошло во благо.

Я в первый раз принят госпожою Председательшей¹⁰⁵; является племянник ее, блистательный щеголь, она представляет меня, говорит имя и откуда я родом.

– Как, сударь, вы итальянец? Клянусь честью, вы держитесь столь учтиво, что я бы побился об заклад, что вы француз.

– Сударь, увидев вас, я едва не совершил ту же оплошность: готов был поспорить, что вы итальянец.

¹⁰³ Счастлива видеть вас в добром здравии, сударь (искаж. ит.).

¹⁰⁴ Эту шутку Казанова заимствовал из «легкой» французской поэзии XVIII в.

¹⁰⁵ Председательша – жена одного из президентов парламента.

– Не знал, что я похож на итальянца.

За столом у миледи Ламберт все разглядывают сердолик, что был у меня на пальце: голова Людовика XV была на нем вырезана весьма искусно. Кольцо обходит весь стол, все находят сходство поразительным; одна юная маркиза возвращает мне кольцо со словами:

– Это в самом деле антик?

– Что, камень? Да, сударыня, несомненный.

Все смеются, а маркиза, каковую считают в обществе умной, спрашивает беспрестанно, отчего смех. После обеда все говорят о носороге, которого за двадцать четыре су с головы показывали тогда на ярмарке в Сен-Жермен. Поедем посмотрим да поедем посмотрим. Мы садимся в карету, выходим на ярмарке и долго кружим по аллеям в поисках носорога. Я был единственный мужчина, вел под руки двух дам, а впереди шла разумница маркиза. Нам сказали, в какой аллее животное; в начале ее сидел у ворот хозяин носорога и получал деньги с тех, кто желал войти. На самом деле то был смуглый человек, одетый по-африкански, невероятной толщины; выглядел он чудовищем, но маркиза могла бы по меньшей мере признать в нем человека. Как бы не так.

– Это вы, сударь, носорог?

– Проходите, сударыня, проходите.

Она видит, что мы помираем со смеху, и, поглядев на настоящего носорога, почитает своим долгом извиниться перед африканцем, заверяя его, что прежде никогда в жизни не видала носорогов, а потому он не должен обижаться на ее ошибку.

В фойе Итальянской комедии во время антракта приходят самые знатные господа, зимою – погреться, а в любое время года – поболтать в свое удовольствие с актрисами, что сидят там в ожидании очередного выхода на сцену в своей роли; я сидел там рядом с Камиллою, сестрой Коралины, и смешил ее любезностями. Некий молодой советник счел, что не подобает мне ее занимать, и весьма надменно обрушился на меня за то, что я не так отозвался об одной итальянской пьесе, и, всячески браня мою нацию, выказал чересчур дурное расположение духа. Я, глядя на смеющуюся Камиллу, отвечал уклончиво, а все общество внимательно прислушивалось к его выпаду, в котором до сей поры не было ничего неприятного, всего лишь игра ума. Однако дело, казалось, вдруг стало принимать серьезный оборот: петиметр, свернув речь свою на порядок в городе, объявил, что с недавнего времени стало опасно ходить ночью по Парижу пешком.

– В прошедшем месяце, – сказал он, – в Париже на Гревской площади мы видели семейных повешенных, и пятеро из них – итальянцы. Удивительное дело.

– Ничего удивительного, – отвечал я. – Все порядочные люди отправляются на виселицу за пределы своей страны, и доказательство тому – шестьдесят французов, что были за прошлый год повешены в Неаполе, Риме и Венеции. Пять на двенадцать и будет как раз шестьдесят: как видите, это попросту обмен.

Все смеялись и были на моей стороне, а молодой советник удалился. Один любезный господин нашел ответ мой удачным и, приблизившись к Камилле, спросил ее на ухо, кто я такой; знакомство состоялось. То был г-н де Мариньи, брат госпожи Маркизы; я счастлив был с ним познакомиться, ибо хотел представить ему своего брата, которого ожидал со дня на день. Он был главный надзиратель королевских строений, и вся Академия живописи зависела от него. Я теперь же поговорил с ним о брате, и он обещал ему покровительство. Еще один молодой господин завязал со мною беседу, просил заходить к нему и сказался герцогом Маталонским. Я отвечал, что восемь лет назад видел его ребенком в Неаполе и дядя его, дон Лелио Караффа, был моим благодетелем. Юный герцог был счастлив и стал еще настойчивее звать меня к себе; мы близко подружились.

Брат мой прибыл в Париж весною 1751-го года, поселился со мною у госпожи Кенсон и начал с успехом работать по частным заказам; но главной его мыслью было написать картину

и представить ее на суд Академии. Я представил его г-ну де Мариньи, который оказал ему добрый прием, ободрил и обещал свое покровительство. Брат тогда же принялся прилежно учиться, дабы не упустить случая.

Посольство г-на Морозини завершилось, и он возвратился в Венецию, а на его место прибыл г-н Мочениго. После того как меня рекомендовал г-н Брагадин, двери его дома были всегда открыты и для меня, и для брата, каковому расположился он покровительствовать как венецианцу и молодому человеку, пожелавшему посредством своего дарования добиться успеха во Франции.

Г-н де Мочениго был весьма доброго нрава; он любил карты и вечно проигрывал; любил женщин и был несчастен, ибо не умел найти верного подхода. Через два года по приезде в Париж влюбился он в г-жу де Коланд; она была к нему жестока, и венецианский посланник наложил на себя руки.

Госпожа Супруга дофина разродилась герцогом Бургундским; я наблюдал такое ликование, в какое нынче, когда глядишь, что чинит та же самая нация против своего короля, верится с трудом. Нация желает доставить себе свободу; намерение ее благородно и разумно, и она приведет предприятие сие к зрелости в царствование этого монарха, каковой, наследуя шестидесяти пяти королям, из которых всякий был более или менее тщеславен и ревнив до своего могущества, по некоему особенному и неповторимому складу души оказался неприязнителен. Но возможно ли поверить, будто душа его перейдет и к его преемнику?

Франция повидала на троне своем множество иных монархов – ленивых, гнушающихся трудом, не терпящих забот и хлопочущих единственно о собственном покое. Удалившись в глубины дворца, оставляли они вершить своим именем деспотическую власть первых министров, однако ж оттого не менее оставались королями и истинными монархами; но никогда еще прежде не видел мир короля, подобного этому, – который бы по доброй воле возглавил нацию, объединившуюся, дабы свергнуть его с престола. Кажется, он счастлив, что наконец должен думать лишь о том, как бы повиноваться. Стало быть, рожден он не на царствование и, похоже, подлинно видит личных своих врагов в тех, кто, движимый истинною заботой о его интересах, не согласен с декретами собрания, каковые только и уничтожают королевское величие¹⁰⁶.

Нация, бунтующая против деспотического ига, каковое называет она и всегда будет называть тиранией, – дело нередкое, ибо бунт этот побуждаем природой; свидетельством тому вечная настороженность монарха, который остерегается выпускать из рук бразды, ибо уверен, что нация не преминет закусить удила. Но монарх, что встает во главе двадцати трех миллионов своих подданных и не просит их ни о чем ином, как лишь оставить ему бесполезный титул короля и главы не затем, чтобы ими править, но дабы исполнять их веления, – дело редкостное, единственное и неслыханное.

«Будьте законодатели, – говорит он им, – и я велю исполнить все ваши законы, если только подадите вы мне помощь против мятежников, что не пожелают подчиниться; впрочем, в вашей власти будет не щадить их и разорвать в клочки без всякого суда и следствия – ибо кому под силу противиться вашей воле? Воистину вы займете мое место. Возражать этому станет знать и духовенство, но их всего один человек из двадцати пяти. В ваших силах подрезать им крылья, физически и духовно, и они будут не в состоянии класть пределы вашему могуществу и вредить вам. Дабы достигнуть этого, вам должно смирить гордыню духовенства, отдав церковные должности в руки равных себе, а священникам назначив лишь жалованье, необходимое для прожития. Что же до знати, то вам нет нужды лишать ее богатства: довольно и того, что вы перестанете почитать ее за пустые родовые титулы; дворян-

¹⁰⁶ Этот кусок написан летом 1789 г., когда была принята Декларация прав человека и гражданина, до того, как король подвергся притеснениям, был насильно перемещен из Версаля в Париж (сентябрь 1789 г.).

ство исчезнет; возьмите пример с мудрых уложений турок; когда же государи эти увидят, что они более не маркизы и не герцоги, то умерят свое властолюбие, и единственным их удовольствием останется тратить деньги на всякую роскошь – но тем лучше для нации, ибо через расходы эти их деньги потекут к ней, а она пустит их в оборот и умножит торговлю. Что же до министров моих, то впредь они станут разумней, ибо будут зависимы от вас, и не моим делом будет судить об их способностях; я стану подбирать их сам, для виду, но и удалять стану всякий раз, как вы захотите. Через то положу я наконец предел тирании, когда они подавляли меня, заставляли делать все, что им было угодно, нередко вредили моей репутации и вечно обременяли Государство долгами от моего имени. Я молчал – но более так не мог; и теперь я наконец на свободе.

Знаю, жена моя, со временем – дети, братья мои и кузены, так называемые принцы крови, осудят меня, но только в душе, ибо не осмелятся заговорить об этом со мною. Ныне, под высоким вашим покровительством, стану я для них более грозным, нежели когда защитой мне служил один лишь мой род, бесполезность какового я сам помог вам доказать публично.

Те, что покинули королевство, недовольные, рано или поздно возвратятся домой, если пожелают, а коли нет, так пускай делают, что им угодно; они называют себя истинными моими друзьями, и мне смешно, ибо не может у меня быть истинных друзей, кроме тех, чей образ мыслей согласен с моим. Они полагают, будто всего важнее на свете древние права нашего дома на королевскую власть, нераздельную с деспотией; а я полагаю, что всего важнее на свете, во-первых, мой покой, во второй черед уничтожение тирании, что захватили надо мною министры, и, в-третьих, ваше довольство. Я мог бы еще сказать, когда бы был обманщик, что забочусь о богатстве королевства – но оно мне безразлично, ибо думать о нем должны вы и касается это только до вас: королевство мне более не принадлежит. Благодарение Богу, я более не король Франции, но, как вы прекрасно говорите, король французов. Все, о чем я прошу вас, – это поспешить и позволить мне наконец отправиться на охоту, ибо я устал скучать».

Из сей доподлинной исторической речи, я полагаю, ясно следует, что контрреволюции случиться не может. Но не менее ясно следует и то, что она случится, как только образ мыслей короля переменится; примет тому нет – как нет примет и тому, что преемник его будет на него похож.

Национальное собрание станет делать все, что пожелает, невзирая на знать и духовенство, ибо на службе у него необузданный народ, слепой исполнитель его велений. Нынче французская нация представляется чем-то наподобие пороку либо шоколаду: и тот, и другой состоят из трех составных частей, и свойство их не зависит, и не может зависеть ни от чего иного, кроме как от пропорции. Время покажет, каковы были составные части, преобладавшие перед Революцией, и каковы те, что преобладают теперь. Я знаю одно: зловоние серы смертельно, а ваниль – яд.

Что же до народа, то он повсюду одинаков: дайте крючнику шесть франков и велите кричать *«Да здравствует король»*, он вам доставит сие удовольствие, но за три ливра минутою позже закричит *«Да умрет король»*. Поставьте во главе народа зачинщика, и он в один день разнесет мраморную крепость. У него нет ни законов, ни убеждений, ни веры, божества его – хлеб, вино и безделье, свободу он полагает безнаказанностью, аристократию – тигром, а демагога – пастырем, нежно любящим свое стадо. Иными словами, народ – это необъятных размеров животное, оно не рассуждает. Парижские тюрьмы набиты узниками, которые все – представители восставшего народа. Скажите им: если вы согласитесь поднять на воздух залу Собрания, я открою вам ворота тюрьмы, – они пойдут с радостью. Всякий народ – это сборище палачей. Французское духовенство, зная это и рассчитывая лишь на себя, стремится

внушить ему религиозное рвение, каковое, быть может, пересилит тягу к свободе: свобода есть для народа лишь некая отвлеченность, для материальных голов недоступная.

Трудно, впрочем, поверить, чтобы нашелся в Национальном собрании хотя бы один его член, движимый единственно заботой о благе отечества. Душа всякого одержима лишь собственным его интересом, и ни один, будь он королем, не последовал бы примеру Людовика XV.

Герцог Маталонский познакомил меня с доном Маркантуаном и доном Джованни-Баттистой Боргезе, римскими князьями, приехавшими в Париж поразвлечься и жившими весьма скромно. Я заметил, что, когда этих римских князей представляли при французском дворе, титуловали их маркизами. По тем же причинам не желали титуловать князьями, *princes*, русских князей: представляя, их так и называли «князь». Им было все равно, ибо «князь» значит по-русски то же, что «*prince*» по-французски. При французском дворе к титулам всегда относились весьма щепетильно: чтобы заметить это, достаточно один раз почитать газету. Там скупаются на титул «*Monsieur*», милостивый государь, каковой при этом обычен во всех иных местах, и всякому, у кого нет титула, говорят «*sieur*», господин. Я приметил, что король ни одного епископа своего не звал епископом, но только аббатом. Он также нарочито не желал знаться ни с одним из сеньоров в своем королевстве, чье имя не значилось бы в списке придворных. Однако ж надменность Людовика XV происходила не от природы его, но была привита ему воспитанием. Если один из посланников кого-то ему представлял, представленный возвращался домой в уверенности, что король Франции видел его, вот и все. То был учтивейший из французов, особливо с дамами и, прилюдно, со своими возлюбленными; всякий, кто осмеливался выказать им хотя б малейшее непочтение, попадал у него в немилость; и более всякого другого был он наделен королевской добродетелью — умением верно хранить тайну: уверенность, что знает он нечто никому не известное, доставляла ему радость. Малый тому пример — г-н д'Эон, что был женщиною¹⁰⁷. Король единственный с самого начала знал, что это женщина, и вся распря фальшивого кавалера с канцелярией Иностранных дел была настоящей комедией, которую король ради забавы позволил разыграть до конца.

Людовик XV был велик во всем и не имел бы вовсе изъянов, когда бы льстецы не принудили его их приобрести. Как мог он знать, что поступает дурно, если все в один голос твердили, что он лучший из королей? В то время княгиня д'Ардоре разродилась мальчиком. Супруг ее, неаполитанский посланник, пожелал, чтобы Людовик XV был крестным отцом ребенка, и король с охотой согласился. Крестнику своему он поднес в подарок полк. Но роженица полка не захотела, ибо не любила ничего военного. Г-н маршал Ришелье говорил мне, что король никогда так не смеялся, как будучи извещен об этом отказе.

У герцогини де Фюльви познакомился я с девицею Госсен¹⁰⁸, которую все звали Лолоттой; она была любовницей милорда Олбемарла, английского посланника, человека умного, весьма благородного и щедрого: однажды ночью гулял он с Лолоттой и, слыша, как восхваляет она красоту звезд на небе, сожалел, что не может их ей подарить. Когда б сей лорд оставался министром во Франции и во время разрыва меж его нацией и нацией французской, он бы всех примирил, и не разразилась бы злосчастная война, стоившая Франции всей Канады. Нет никакого сомнения, что доброе согласие меж двумя нациями зависит чаще всего от министров, которых держат они при дворе друг у друга в то время, когда ссорятся либо когда грозит им опасность поссориться.

¹⁰⁷ Казанова ошибается: шевалье д'Эон, авантюрист, шпион французского короля, был мужчина-травести. Он был чтицей у Елизаветы Петровны, участвовал в Семилетней войне.

¹⁰⁸ *Девушка Госсен*. — Казанова перепутал двух актрис: любовницей Олбемарла была Луиза Гоше.

Что же до возлюбленной его, то все, кто ее знал, были единодушны в своих оценках. Не было в ней черты, каковая бы делала ее недостойной выйти за него замуж; все без изъятия именитые дома Франции принимали ее в свое общество и без титула миледи Олбемарл, и соседство ее не оскорбляло добродетели ни одной дамы – все знали, что иного звания, кроме возлюбленной милорда, у нее никогда не было. Тринадцати лет попала она из рук матери в милордовы, и поведение ее всегда было безупречно; детей ее милорд признал своими. Умерла она графиней д'Эрувиль. В своем месте я еще вернусь к ней.

Тогда же познакомился я у г-на Мочениго, венецианского посланника, с одной венецианкой, вдовой английского рыцаря Уинна, что возвращалась с детьми из Лондона. Ездил она туда справиться о своем приданом и о наследстве покойного супруга, каковое могло перейти к ее детям лишь в том случае, если примут они англиканскую веру. Прodelав все это, возвращалась она в Венецию, довольная своим путешествием. С дамою этой ехала и ее старшая дочь, которой было всего двенадцать лет; однако ж нрав ее обрисовывался уже в совершенстве на красивом личике. Нынче она вдова покойного графа фон Розенберга, умершего в Венеции посланником царствующей Императрицы Марии-Терезии, и живет в Венеции; на родине блистает она благоразумием, умом, величайшей обходительностью и иными светскими добродетелями. Все говорят, что единственный ее недостаток – то, что она небогата. Верно, однако никто, кроме нее, не вправе сожалеть об этом: лишь она может ощутить, как велик сей изъян, когда мешает он ей проявить щедрость.

В то время случилась у меня одна тяжба с французским правосудием.

Глава X

Я имею дело с парижским правосудием. Девушка Везиан

Младшая дочь хозяйки моей, г-жи Кенсон, частенько являлась без зову ко мне в комнату, и я, заметив, что она любит меня, рассудил, что странно мне было бы разыгрывать перед нею жестокосердие; к тому же она была не без достоинств, имела прелестный голос, читала все модные книжки и судила обо всем вкось и вкось с весьма привлекательною живостью. Возраста она была благовонного – лет пятнадцати-шестнадцати.

В первые четыре или пять месяцев не было промеж нами ничего, одно ребячество, но однажды случилось, что, вернувшись запоздно домой, застал я ее уснувшей на моей постели. Мне сделалось любопытно, проснется она или нет, я сам разделся, улегся – а остальное понятно и без слов. На рассвете она спустилась вниз и улеглась в свою постель. Звали ее Мими. Двумя или тремя часами позже случай привел ко мне модную торговку с девушкой, просить меня к завтраку. Девушка была недурна, но я уже изрядно потрудились с Мими и, поболтав с ними час, отправил их восвояси. Они как раз уходили, и тут входит г-жа Кенсон с Мими, убрать мою постель. Я сажусь писать и слышу, как она говорит:

- Ах они прохвостки!
- На кого вы сердитесь, сударыня?
- Невелика загадка: простыни-то испорчены!
- Мне очень жаль; простите; перемените их, и довольно об этом.
- Как это довольно? Пусть они только вернутся!

Она спускается за другими простынями, Мими остается, я пеняю ей за неосторожность, она смеется и говорит, что, хвала небу, все вышло совсем невинно. С того дня Мими более не стеснялась: она приходила ко мне ночью, когда хотела, а я без стеснения отсылал ее, когда бывал не в духе, так что жили мы в мире и согласии. Союз наш продолжался четыре месяца, когда Мими объявила мне, что беременна; я отвечал, что не знаю, как ей помочь.

- Надобно подумать о всяких вещах.
- Так подумай.

– О чем, по-твоему, я должна думать? Что будет, то пускай и будет. По мне так лучше вовсе об этом не думать.

На пятом или шестом месяце живот Мими не оставляет у матери никаких сомнений; она таскает дочь за волосы, колотит, принуждает во всем сознаться и желает знать, кто ей помог растолстеть; Мими отвечает – и быть может, не лжет, – что это я.

В гневе г-жа Кенсон поднимается ко мне, врывается в комнату, бросается в кресла, переводит дух, утишает негодование свое бранью и в конце концов объявляет, что я должен быть готов жениться на ее дочери. Получив сей приговор и поняв, о чем идет дело, я отвечаю, что женат в Италии.

- Тогда зачем же вы сделали ребенка моей дочери?
- Уверю вас, я не имел подобного намерения; да и кто вам сказал, что это я?
- Она, сударь, собственной персоной: она в этом уверена.
- С тем ее поздравляю. Я же готов поклясться, что вовсе в этом не уверен.
- Что же теперь?
- Теперь ничего. Коли она беременна, так родит.

Она с угрозами спускается вниз, и я вижу в окно, как она садится в фиакр. Назавтра вызывают меня к квартальному комиссару¹⁰⁹; я иду и встречаю там г-жу Кенсон во всеору-

¹⁰⁹ Квартальный комиссар – Мишель Мартен Гримперель. Начальнику (генерал-лейтенанту) парижской полиции (им с

жии. Квартальный, спросив мое имя, сколько времени я в Париже и множество других вещей и записав мои ответы, вопрошает, признаю ли я, что нанес дочери присутствующей здесь дамы обиду, в которой меня обвиняют.

– Сделайте одолжение, господин квартальный, запишите ответ мой слово в слово.

– Извольте.

– Я не наносил никакой обиды Мими, дочери присутствующей здесь госпожи Кенсон, и в том полагаюсь на саму Мими, каковая всегда питала ко мне то же дружеское расположение, что и я к ней.

– Она говорит, что вы сделали ей ребенка.

– Быть может; но наверное это не известно.

– Она утверждает это достоверно, ибо другого мужчины, кроме вас, у нее не было.

– Когда так, она достойна жалости, ибо мужчина в подобных делах может верить лишь законной своей жене.

– Что вы ей дали, чтобы соблазнить?

– Ничего, ибо это она соблазнила меня, и мы вмиг поладили.

– Была ли она девицею?

– Это меня не занимало ни до, ни после: не имею понятия.

– Мать ее требует от вас удовлетворения, и закон признает вас виновным.

– Никакого удовлетворения от меня она не получит, а что до закона, то я охотно ему повинуюсь, но прежде должен взглянуть на него и убедиться, что и в самом деле его преступил.

– Вы уже во всем сознались. Или вы полагаете, что мужчина, сделав ребенка честной девушке в доме, где живет, не преступает законов общества?

– Согласен, когда бы мать ее была обманута; но когда она сама посылает дочь свою ко мне в комнату, разве не должен я полагать, что она расположена мирно перенести все последствия нашего разговора?

– Она посылала к вам дочь, чтобы та вам служила, не более того.

– Она мне и услужила, а я воспользовался ее услугами, удовлетворяя потребности природы человеческой; если г-жа Кенсон сегодня вечером снова придет ко мне, я, быть может, поступлю точно так же, но никак не силой, а с согласия Мими и только в своей комнате, за которую всегда исправно платил.

– Можете говорить что угодно; но штраф вы заплатите.

– Я не стану ничего платить; невозможно, чтобы нужно было платить штраф, ни в чем не преступив права, и если я буду осужден, то стану жаловаться во все суды, откуда не будет восстановлена справедливость, ибо я знаю себя, и для меня, каков я есть, невыносима такая низость, чтобы отказать в ласках понравившейся мне девушке, которая придет в собственную мою комнату, и, главное, если я буду уверен, что приходит она с ведома матери.

Все это с малыми отличиями занесено было в мой допросный лист, который я прочел и подписал и который квартальный понес к судье; тот пожелал меня выслушать и, взглянув на мать и дочь, простил меня, а опрометчивую мать приговорил уплатить судебные издержки квартальному. Однако ж я поддался на слезы Мими и дал ее матери денег на роды. Мими разродилась мальчиком, которого я отправил в приют на пользу французской нации. Мими после этого сбежала из материнского дома и стала актрисой на ярмарке Сен-Лоран, у Моне, в комической опере. Здесь никто ее не знал, и ей не составило труда найти любовника, который принял ее за девицу. Встретив ее на балагане, я был в восторге и нашел, что она очень мила.

– Я и не знал, что ты училась музыке.

1747 по 1757 г. был Н. Беррье) подчинялись 48 комиссаров, вершивших правосудие в 21 квартале. Донесения инспектора полиции Менье подтверждают рассказ Казановы. Ему помогло выпутаться из этой истории заступничество Сильвии перед начальником полиции. Венецианцу велели уплатить девице сто экю.

– Не более чем все мои товарищи. Девушки из парижской Оперы не знают ни одной ноты, однако ж поют. Надобно лишь иметь красивый голос.

Я попросил Мими позвать на ужин Патю, каковой нашел ее прелестной. Но после она сбилась с пути, влюбилась в какого-то скрипача по имени Берар, который проел все ее сбережения, и пропала из виду.

В то время итальянским комедиантам дозволено было давать на театре своим пародии на оперы и трагедии; я познакомился с знаменитой Шантийи, каковая прежде была возлюбленной маршала Саксонского, а ныне звалась Фавар, ибо поэт Фавар женился на ней. В пародии на «Фетиду и Пелея» г-на де Фонтенеля¹¹⁰ пела она роль Тонтона и снискала невероятный успех. Чарами своими и дарованием сумела она увлечь человека величайших достоинств, известного творениями своими по всей Франции. То был аббат де Вуазенон, с которым я свел знакомство столь же близкое, как и с Кребийоном. Создателем всех сочинений для театра, что приписываются г-же Фавар и носят ее имя, был сей знаменитый аббат, какового после моего отъезда избрали членом Академии. Я познакомился с ним, поддерживал знакомство, и он удостоил меня своей дружбой. Именно я подал ему мысль написать оратории в стихах, что исполнялись впервые в Духовном концерте в Тюильри на протяжении тех немногих дней в году, когда религия велит закрыть театры. Здоровье сего аббата, тайного сочинителя многих комедий, было под стать малому его росту; он был сама любезность и остроумие, славился своими шутками, каковые, несмотря на остроту, никого не задевали. У него не могло быть врагов: критика его скользила по поверхности кожи, не нанося уколов.

– Король зевал, – сообщил он мне однажды, вернувшись из Версаля, – ибо завтра ему надобно идти в Парламент на заседание, именуемое «ложе правосудия»¹¹¹.

– А отчего так зовется торжественное заседание?

– Не знаю. Быть может, оттого, что правосудие на нем спит.

Точною копией этого аббата был граф Франц Хардиг, ныне полномочный министр Императора при дворе курфюрста Саксонского: я повстречал его в Праге. Аббат этот представил меня г-ну де Фонтенелю, каковому было в те поры девяносто три года, но он не только сохранял светлый разум, но и был глубокий физик, а сверх того славился своими шутками, из которых составил бы целый том. Всякое приветствие непременно оживлял он остроумием. Я сказал, что приехал из Италии *нарочно* для того, чтобы нанести ему визит. Он отвечал, ухватившись за слово «нарочно»:

– Признайтесь, вы заставили себя ждать.

Ответ весьма учтивый, но в то же время и критический, ибо в нем обнажалась неискренность моего приветствия. Он подарил мне свои сочинения. На вопрос его, нахожу ли я вкус во французских спектаклях, я отвечал, что видел в Опере «Фетиду и Пелея», «Thétis et Pélée»: то была его пьеса, однако когда я стал хвалить ее, он объявил, что это «têtepelée» лысая голова.

– В пятницу у *Французов* видел я «Гофолию»¹¹², – сказал я.

– Это, сударь, шедевр Расинов, и Вольтер напрасно обвиняет меня в том, будто я критиковал его, и приписывает мне эпиграмму неизвестно чьего сочинения, два последних стиха которой весьма дурны:

Какой талант, однако, нужен,
Чтоб написать «Эсфири» хуже!

¹¹⁰ В «Беспокойных любовниках» (1751) Фавар спародировал лирическую трагедию «Фетида и Пелей» (1689), которая шла в придворном театре Фонтенбло в 1750–1751 гг.

¹¹¹ «Ложе правосудия» – торжественное заседание парижского парламента (Судебной палаты), на котором присутствовал король (он сидел под балдахином).

¹¹² «Гофолия», «Эсфирь» – трагедии Расина, написанные в 1681 и 1688 гг.

Поговаривали, будто г-н Фонтенель был милым другом г-же де Тансен, и плодом их близости стал г-н д'Аламбер¹¹³. Приемного отца его звали Лерон. С д'Аламбером познакомился я у г-жи де Графиньи. Великий сей философ в высшей степени владел секретом нимало не казаться ученым, находясь в приятном обществе не сведущих в науках людей. Он также весьма искусно вел беседу, так, что всякий, разговаривая с ним, становился умней.

Когда во второй раз возвращался я в Париж, бежав из Свинцовых тюрем, то уже заранее радовался встрече с Фонтенелем, но он скончался через две недели после моего приезда, в начале *1757 года*.

Когда я возвращался в Париж в третий раз, с намерением остаться там до самой моей смерти, то полагался на дружеское расположение г-на д'Аламбера, но он умер через две недели после моего приезда, в конце *1783 года*. Никогда более не видеть мне ни Парижа, ни Франции: слишком страшат меня казни, вершимые необузданным народом.

Г-н граф фон Лоз, посланник короля Польского и курфюрста Саксонского в Париже, тогда же, в *1751 году*, велел мне перевести на итальянский язык какую-нибудь французскую оперу, что подавалась бы на большие изменения, и несколько больших балетов на тот же сюжет, что и опера; я выбрал «Зороастра» г-на де Каюзака. Мне пришлось приноровлять итальянские слова к французской хоровой музыке: музыка сохранилась прекрасно, но стихи итальянские были не блестящи. Однако ж я получил от щедрого государя красивую золотую табакерку – и доставил великое удовольствие своей матери¹¹⁴.

В то же самое время явилась с братом своим в Париж девица Везиан – совсем юная, родовитая и прекрасно воспитанная, прехорошенькая, пренаивная и любезная до крайности. Отец ее, служивший во французских войсках, умер на родине, в Парме; дочь, оставшись сиротой и не имея средств к жизни, послушалась чьего-то совета, продала все и потащилась с братом в Версаль, дабы разжалобить военного министра и что-нибудь получить. Сойдя с дилижанса, она села в фиакр и велела отвезти ее в меблированные комнаты неподалеку от Итальянского театра, и фиакр привез ее в Бургундскую отель на улице Моконсей, где жил и я.

Поутру сказали мне, что на моем этаже, в задней комнате, поселились двое только что приехавших юных итальянцев, брат и сестра, весьма красивые, а поклажи у них только и было что маленькая дорожная сумка. Они были итальянцы, красивы, бедны, едва приехали и мои соседи: вот сразу пять поводов для меня пойти и своими глазами взглянуть, кто они такие. Я стучусь; стучусь еще – и вот открывает мне дверь мальчик в рубахе и просит прощения, что не одет.

– Это я должен просить прощения. Я итальянец, ваш сосед и к вашим услугам.

На полу я вижу матрац, на котором спал брат, этот мальчик, и предо мною постель с задернутым пологом: полагая, что здесь должна находиться сестра, я говорю, что когда бы предполагал в девять часов утра застать ее еще в постели, то никогда бы не дерзнул постучаться к ней в дверь. Она из-за полога отвечает, что спала долее обыкновенного, ибо легла утомленная путешествием, но что, если мне угодно будет дать ей несколько времени, она теперь же встанет.

– Удаляюсь к себе в комнату, сударыня, а вы, когда сочтете, что вам можно показаться на люди, сделаете милость и позовете меня. Я вам сосед.

Не прошло и четверти часа, как она, вместо того чтобы меня позвать, входит сама в мою комнату и говорит с красивым реверансом, что пришла отдать визит и что брат появится, как только будет готов. Я благодарю, прошу ее сесть, объясняю чистосердечно причину своего

¹¹³ Д'Аламбер – был внебрачным сыном г-жи де Тансен и шевалье Детуша. Лерон – это не имя его приемного отца, некоего Руссо, а название парижской церкви Сен-Жан-Ле-Рон, на ступени которой он был подкинут.

¹¹⁴ Дзанетта Казанова была придворной актрисой короля польского Августа III и играла в этой опере, премьеры которой состоялась в Дрездене 5 февраля 1752 г.

любопытства, и она в восторге, не дожидаясь долгих расспросов, рассказывает ту самую простую и короткую повесть, что я только что передал; завершает она ее словами, что нынче же ей надобно подыскать себе другое жилище, подешевле, ибо осталось у нее всего шесть франков, продать ей нечего, а за комнату, что она занимала, полагалось платить за месяц вперед. Я спрашиваю, есть ли у нее рекомендательные письма, и она вынимает из кармана сверток, где я сию же минуту нахожу семь-восемь аттестатов ее отца, свидетельства о рождении его, ее самой и брата, свидетельства о смерти, свидетельства о поведении, о бедности и паспорта. И ничего другого.

– Я вместе с братом отправлюсь к военному министру, – говорит она, – надеюсь, он сжалятся над нами.

– Вы никого здесь не знаете?

– Никого. Вы первый человек во Франции, которому я о себе рассказала.

– Мы соотечественники; положение ваше и облик для меня достаточная рекомендация, и, если вы не возражаете, я мог бы стать вам советчиком. Дайте мне ваши бумаги и позвольте навести справки. Никому не говорите о своей нищете, не выходите никуда из отеля, и вот вам два луидора.

Преисполнившись признательности, она соглашается взять деньги.

Девушка Везиан была шестнадцатилетняя брюнетка редкой привлекательности, хотя и не совершенная красавица. Она хорошо говорила по-французски и поведала мне о плачевных своих делах без всякой низости и без той робости во взоре, что происходит, надо полагать, из страха, как бы слушатель не подумал извлечь выгоду из несчастья, ему поведенного. В лице ее не было ни униженности, ни дерзости; не теряя надежды, она и не похвалялась своим мужеством; держалась она благородно и отнюдь не выпячивала вперед свою добродетель, однако ж было в ней что-то, отчего развратник приходил в смущение. Доказательство тому – я сам: глаза ее, стройный стан, белизна кожи, свежесть, утреннее платье, – все влекло меня к ней, однако ж чувства мои с первой же минуты оказались в ее власти, и я не только ничего над нею не учинил, но и обещал себе, что не стану первым, кто собьет ее с истинного пути. Я отложил на другое время речь, посредством каковой намерен был испытать ее на сей счет и, быть может, предпринять сам иной образ действий; в тот первый миг сказал я ей только, что прибыла она в город, где, должно быть, решится ее судьба и где все достоинства ее, казалось бы, подаренные природой для того, чтобы достигнуть счастья, могут обернуться причиной безвозвратной ее гибели.

– Вы приехали в город, где богатые мужчины презирают девиц вольного обхождения, кроме тех, кто пожертвовал им свою честь. Если вы сохранили ее и решились хранить и дальше, готовьтесь к тому, чтобы терпеть нужду, но если ж чувствуете, что разум ваш небрежет предрассудками и готов согласиться на все, дабы доставить вам безбедную жизнь, поставьтесь, во всяком случае, не дать себя обмануть. Не берите на веру те золоченые слова, какие станет говорить вам мужчина, пылающий страстью и жаждою добиться ваших милостей; верьте тогда лишь, когда прежде слов увидите дела, ибо пыл, обретя наслаждение, гаснет, и вы окажетесь в ловушке. Бойтесь также искать бескорыстных чувств в тех, кого увлечете своими прелестями: вам дадут в изобилии фальшивых монет и заставят платить полновесной. Будьте недоступной. Сам я уверен, что не причиню вам зла, и надеюсь, что сделаю добро; дабы и вы убедились в этом, я стану обходиться с вами по-братски, ибо слишком еще молод, чтобы быть вам отцом; я не говорил бы всего этого, когда б не находил вас очаровательной.

Тут наконец вошел ее брат, милый и весьма стройный восемнадцатилетний мальчик, который, однако, вовсе не умел держаться, говорил весьма мало и лицо имел совсем невыразительное. Мы позавтракали; я пожелал услышать от него самого, какое поприще он счел бы для себя привлекательным, и он отвечал, что готов на все, только бы жить честным трудом.

– Есть ли у вас какой-нибудь дар?

– Я недурно пишу.

– Это уже кое-что. Если станете выходить на улицу, не показывайтесь никому на глаза; избегайте кофейных домов, а на прогулках не вступайте ни с кем в разговоры. Обедайте дома, с сестрой, и, не откладывая, снимите себе в пятом этаже маленький кабинет. Напишите сегодня же что-нибудь по-французски, а завтра утром отдайте написанное мне и будьте надежны. Что же до вас, сударыня, то вот книги, выбирайте любые. Бумаги ваши у меня, а сообщить что-то я смогу только завтра, ибо возвращаюсь очень поздно.

Она взяла несколько книг и удалилась с видом весьма благочинным, сказав, что во всем полагается на меня.

Страстно желая услужить этой девушке, я во весь день, куда бы ни пошел, говорил о ее деле, и повсюду, от мужчин и от женщин, слышал, что, коли она хороша собою, удача непременно ей улыбнется, надобно только не прекращать попыток; в отношении же брата меня заверили, что если он умеет писать, то его удастся определить в какую-нибудь канцелярию. Мне пришла в голову мысль найти какую-нибудь достойную женщину, которая бы рекомендовала и представила девушку г-ну д'Аржансону. То был единственно верный путь, я знал, что сумею пока ее поддержать, и просил Сильвию переговорить на сей счет с г-жою де Монконсей, каковая имела большое влияние на умонастроения военного министра. Сильвия обещала, пожелав прежде видеть саму барышню.

Возвратившись к себе в одиннадцать часов, увидел я свет в комнате Везиан, постучал, и она открыла со словами, что не ложилась спать в надежде видеть меня.

Я дал ей отчет во всем, что для нее сделал, и понял, что она, преисполненная благодарности, готова на все. О положении своем говорила она с видом благородного безразличия, каковой помогал ей сдерживать слезы; она не хотела плакать, но я видел, что глаза ее блестят еще сильнее от намернувшихся слез, зрелище это исторгло из моей груди вздох, но я тут же его устыдился. Беседа наша продолжалась уже два часа. Благопристойно и к слову поведала она, что никогда еще не любила, а значит, достойна такого возлюбленного, какой в обмен на пожертвованную ему честь воздаст ей по заслугам. Смешно было бы полагать, что воздаянием этим непременно должен стать брак; хотя юная Везиан не оступилась ни разу, она была не такая дура, чтобы твердить, будто не сделает ложного шага и за все золото в мире: мечтала она лишь о том, чтобы отдаться не из пустой прихоти и не задешево.

Слушая эти искренние, не по юному ее возрасту, разумные речи, я вздыхал и сгорал от страсти. Мне вспоминалась бедняжка Лючия из Пасеано¹¹⁵, мое раскаяние, то, как я ошибся, поступивши с нею подобным образом; теперь же я видел, что сижу подле овечки, каковая станет скоро жертвою какого-нибудь голодного волка, но вскормлена отнюдь не для этого, и чувства ее благодаря воспитанию достойны того, чтобы и впредь не расставаться с добродетелью и честью. Я вздыхал, ибо не в силах был ни составить счастье ее, завладев ею незаконно, ни сделаться ее телохранителем. Больше того, я видел, что, став покровителем ее, причиню ей скорее зло, нежели добро, и не только не помогу ей достигнуть богатства честным путем, но, быть может, окажусь причиной ее гибели. Она сидела подле меня, я же говорил с нею о чувствах, но не о любви и чересчур часто целовал ей руки, бессильный и прийти к какому ни то решению, и начать дело, что вмиг пришло бы к завершению и оттого заставило бы меня удерживать ее при себе; тем самым лишалась она надежды на удачу, а я – возможности от нее избавиться. Женщин я любил до безумия, но всегда предпочитал им свободу. Однажды я оказался в опасности и едва не пожертвовал ею, но по чистой случайности спасся.

¹¹⁵ Юный Казанова соблазнил и обрюхатил четырнадцатилетнюю служанку.

Лишь в три часа пополудни оставил я девицу Везиан, каковая, без сомнения, не могла приписать сдержанность мою на счет добродетели и, должно быть, сочла ее следствием стыда, либо бессилия, либо какой-то тайной болезни; но отнюдь не безразличной холодно-сти, ибо любовный мой пыл ясно читался и в глазах, и в той смешной жадности, с какой целовал я ей руки. Таким принужден я был предстать перед этой прелестной девушкой и впоследствии раскаивался. Пожелав ей доброй ночи, я сказал, что завтра мы пообедаем вместе.

Отобедали мы очень весело, и брат ее отправился на прогулку. Из окон моей комнаты видна была вся Французская улица, а равно и кареты, съезжавшиеся к дверям Итальянского театра, где в тот день было великое стечение публики. Я спрашиваю у соотечественницы, не желает ли она, чтобы я отвел ее в комедию; она просит об этом; я усаживаю ее в амфитеатр и оставляю одну, сказав, что мы увидимся дома в одиннадцать часов. Мне не хотелось быть с нею рядом, ибо пришлось бы непременно отвечать на вопросы: чем проще была она одета, тем более привлекала внимание.

Отужинав у Сильвии, возвращаюсь я домой и вижу у дверей весьма изящный экипаж; мне говорят, что это карета одного молодого господина, который ужинал с барышнею Везиан и теперь еще не ушел. Вот она и на пути к счастью. Я смеюсь над собою и иду спать.

Наутро, поднявшись, я вижу, как у дверей отели останавливается фиакр, из него выходит молодой человек в утреннем платье, поднимается по лестнице и, слышу, входит к моей соседке. Мне все равно. Я одеваюсь и собираюсь уходить, но тут является Везиан и говорит, что не входит к сестре, потому что у нее тот самый господин, который накормил их ужином.

– Это в порядке вещей.

– Он богатый и вежливый необычайно. Он хочет сам отвезти нас в Версаль и немедля определить меня на какое-нибудь место.

– Кто он?

– Не имею понятия.

Я кладу бумаги его в конверт, запечатываю, вручаю ему пакет, чтобы вернул сестре, и ухожу. Возвращаюсь к себе в три часа, и хозяйка передает мне записку, которую уехавшая мадемуазель сказывала отдать мне. Я иду в комнату, открываю конверт, нахожу в нем два луидора и такие слова: «Возвращаю с благодарностью деньги, какими вы ссудили меня. Граф Нарбоннский оказывает мне внимание и, без сомнения, не желает мне ничего иного, как только добра, а также и брату моему: напишу вам обо всем из дома, где ему угодно меня поселить, чтобы я ни в чем не знала недостатка; но дружба ваша для меня весьма и весьма дорога, и мне бы очень не хотелось потерять ее. Брат остается в своем кабинете в пятом этаже, и комната моя весь месяц будет за мной, я за все заплатила».

Она рассталась с братом: этим все сказано. Поторопилась. Решив ни во что больше не вмешиваться, я браню себя, что отдал ее нетронутой этому юному графу, который сделает из нее бог весть что. Я одеваюсь и отправляюсь к Французам, справиться об этом Нарбонне: хоть и был я сердит, но чувствовал себя стороною заинтересованной и желал все знать. Во Французской комедии первый же встречный сообщает, что Нарбонн – сын богача, зависит от отца, весь в долгах как в шелках и не пропускает ни одной девицы в Париже.

Всякий день ходил я на два-три спектакля – не столько ради Везиан, каковую, как мне казалось, презирал, сколько для того, чтобы встретить этого Нарбонна: мне любопытно было свести с ним знакомство; неделя прошла, а мне так и не удалось ничего узнать, и юного сего господина я не видел. Я начинал уже забывать это приключение, как вдруг явился ко мне в восемь утра Везиан и сказал, что сестра его у себя в комнате и желает побеседовать со мною. Не теряя ни минуты, иду я к ней и застаю ее в глубокой печали и с заплаканными глазами. Она велела брату идти погулять и вот что рассказала:

– Я решила, что г-н де Нарбонн человек честный, ибо мне надобно было его таковым считать; я сидела там же, где вы меня оставили, он подсел ко мне, сказал, что лицо мое привлекло его внимание, и спросил, кто я такая. Я отвечала ему то же, что и вам. Вы обещали подумать обо мне; но Нарбонн объявил, что ему нет нужды думать, он все сделает теперь же. Я поверила ему и оказалась в дураках: он меня обманул; он подлец.

Она не могла более сдерживать слез, и я отошел к окну, чтобы дать ей поплакать вволю, а несколькими минутами позже снова уселся с нею рядом.

– Расскажите мне все, дорогая Везиан, облегчите душу без всякого стеснения. Не считайте, будто виноваты передо мною, ибо по сути я и есть причина вашего несчастья. Когда б я по неосторожности не отвел вас в комедию, вы бы сейчас не печалились и не терзали себе душу.

– Увы, сударь, не надо так говорить! Могу ли я упрекать вас за то, что вы поверили в мое благоразумие? Короче. Он обещал позаботиться обо мне во всем при условии, что я дам ему верное доказательство доверия, какое он заслужил; иными словами, что я перееду жить к одной добропорядочной женщине, у которой снимал он маленький домик, но непременно без брата, ибо злые языки могли счесть его за моего любовника. Я подалась на уговоры. Несчастливая! Как могла я поехать, не спросив у вас совета? Он сказал, что почтенная женщина, к которой отправляет меня, как раз и отведет меня в Версаль, а он сам позаботится, чтобы там же оказался мой брат и мы вместе были представлены министру. Он обманул меня. После ужина он удалился, сказав, что завтра утром заедет за мною на фиакре, а еще дал мне два луидора и золотые часы; я полагала, что могу принять их, не связывая себя никакими обязательствами, – ведь он богатый господин и говорил, что нет у него другого желания, кроме как сделать мне добро.

Когда приехали мы в домик, он представил меня женщине, на вид нимало не почтенной, и продержал там всю неделю: приходил, уходил, выходил, возвращался, но так и не делал ничего решительного; и вот наконец сегодня в семь часов утра женщина эта сказала, что г-н граф принужден семейными обстоятельствами отправиться в деревню, что у ворот ожидает меня фиакр, который отвезет меня обратно в Бургундскую отель, а сам он заедет повидаться со мною, как только возвратится. Состроив грустную мину, она сказала, что мне придется отдать ей подаренные им золотые часы, ибо г-н граф забыл заплатить часовщику, и она должна их вернуть. Не говоря ни слова, я в тот же миг отдала часы, сложила в платок все вещи, что брала с собою, и возвратилась сюда тому полчаса.

Минутою позже я спросил, рассчитывает ли она снова увидеть графа, когда он приедет назад из деревни.

– Чтобы я встречалась с ним? Чтобы я стала с ним разговаривать?!

Я спешно возвратился к окну, чтобы не мешать ей еще поплакать: она задыхалась от рыданий. Никогда еще несчастная, попавшая в беду девица не пробуждала во мне подобного участия. На место нежности, какую внушала она мне неделю назад, пришла жалость; она не укоряла меня, однако ж сам я полагал себя главным виновником ее несчастья, а значит, обязан был питать к ней прежнюю дружбу. Гнусное поведение Нарбонна привело меня в такое негодование, что, знай я, где найти его в одиночестве, непременно отправился бы туда, ничего не говоря Везиан, и вызвал его на поединок.

Я остерегся выпрашивать у нее в подробностях о том, как провела она эту неделю в маленьком домике. Такие истории знал я наизусть; мне не было нужды унижать ее, понуждая обвиняками, чтобы она обо всем рассказала. В отобранных часах представилась мне вся низость, гнусная лживость и постыдная скаредность этого несчастного. Долее четверти часа продержала она меня у окна, потом позвала, и, вернувшись, я увидел, что она повеселела. Слезы – самое верное лекарство и облегчение в большом горе. Она просила меня относиться

к ней по-отцовски, уверяя, что впредь будет этого достойна, и посоветовать, как ей теперь быть.

– Сейчас, – сказал я, – вам надобно забыть не только злодеяние Нарбонна, но забыть и собственную свою ошибку, позволившую ему это злодеяние совершить. Что сделано, дорогая Везиан, то сделано; вам надобно полюбить себя самое снова и вернуть красивому вашему личику то же выражение, что сияло на нем неделю раньше. Тогда читалась в нем порядочность, непорочность, чистосердечие и то благородное достоинство, что вызывает симпатию у всякого, кто умеет его ценить. Все это должно и нынче выражать лицо ваше, ибо только эти черты привлекают порядочных людей, а вам, как никогда, надобно быть привлекательной. Что касается до меня, то дружба моя слабое подспорье, но я обещаю быть вам другом во всем, ибо теперь, да будет вам известно, вы получили на это право, какого не имели неделей раньше. Обещаю не покидать вас до тех пор, пока вы твердо не встанете на ноги. Сию минуту не знаю, что посоветовать; но я подумаю о вас.

– Ах, дорогой друг! Вы обещаете подумать обо мне – чего же мне еще желать? Несчастливая я! Обо мне подумать некому.

Мысль эта так растрогала ее, что подбородок у нее задрожал, и под гнетом горя упала она без чувств. Я не стал никого звать и хлопотал над нею до тех пор, пока она не пришла в себя и не успокоилась. Я рассказывал ей истинные и выдуманные истории про мошенников, которые только тем и занимаются в Париже, что обманывают девиц; чтобы рассмешить ее, поведал и несколько забавных анекдотов, а напоследок заключил, что она должна благодарить небо, пославшее ей Нарбонна, ибо, не случись этой беды, она не была бы уверена, что впредь станет осмотрительней.

Во все время, что провели мы наедине, и я изливал истинный бальзам ей на сердце, мне не составило никакого труда удержаться и не брать ее за руку или иным каким-нибудь образом не изъяснить свою нежность: воистину единственным чувством, охватившим меня, была жалость. Когда спустя два часа увидел я, что она прониклась моими увещаниями и ободрилась, и готова героически сносить свое несчастье, то ощутил настоящее удовольствие. Внезапно она встает, глядит на меня не то доверительно, не то с сомнением и спрашивает, нет ли у меня на сегодня неотложных дел; я отвечаю, что нет.

– Вот и хорошо, – говорит она, – отвезите меня куда-нибудь в окрестности Парижа, на свежий воздух: там я смогу вернуть себе тот внешний вид, каковой, как вы полагаете, должен привлечь ко мне благосклонное внимание всякого, кто меня увидит. Когда бы удалось мне в будущую ночь хорошенько выспаться, то я смогла бы, чувствую, снова быть счастлива.

– Премного благодарен за такое признание; я иду одеваться, и мы куда-нибудь отправимся, а покуда и брат ваш вернется.

– При чем тут мой брат?

– Подумайте сами, милый друг: ведь поведением своим вы должны заставить Нарбонна устыдиться и сделаться несчастным до конца дней. Рассудите – вдруг дойдет до него, что в тот самый день, когда он вас отослал, вы отправились совсем одна со мною за город: он станет праздновать победу и скажет, что обошелся с вами по заслугам. Но если с вами будет ваш брат и я, ваш соотечественник, вы не доставите никакой пищи злословию и никакого повода для клеветы.

Славная девочка покраснела и приготовилась дожидаться брата; тот вернулся четверть часа спустя, и я сразу же послал за фиакром. Мы как раз садились в него, как тут пришел ко мне в гости Баллетти. Я представляю его барышне, приглашаю ехать с нами на прогулку, он соглашается, и мы отправляемся в «Большой Булыжник» – отведать рыбы по-матросски, шпигованной говядины, омлета, голубей в распластку; веселье, что пробудил я в девушке, скрасило сей беспорядочный обед.

После обеда Везиан отправился гулять в одиночестве, а сестра его осталась с нами. К моему удовольствию, Баллетти находил ее очаровательной, и тут возникает у меня замысел – не научить ли другу моему ее танцевать? Не спрашиваясь у девушки, рассказываю я ему о том, в каком она положении, отчего пришлось ей уехать из Италии, о слабой надежде ее получить какую-нибудь пенсию при дворе и о нужде в подобающем для прекрасного пола занятии, что позволило бы ей заработать на жизнь. Баллетти, подумав, говорит, что готов сделать все, что потребуется, осматривает внимательно фигуру и сложение девицы и заверяет ее, что найдет способ заставить Лани взять ее в Оперу, фигуранткой в балете.

– Значит, – говорю я, – надобно завтра же начать с ней уроки. Комната барышни рядом с моей.

План, родившийся в одночасье, готов, и тут Везиан вдруг начинает умирать со смеху: мысль, что она может стать танцовщицей, никогда не приходила ей в голову.

– Но разве можно научить танцевать так скоро? Ведь я умею танцевать один менуэт, и у меня хороший слух на контрдансы; но я не знаю ни одного па!

– Фигурантки из Оперы умеют не больше вашего, – отвечает Баллетти.

– А сколько я запрошу с г-на Лани? По-моему, вряд ли я могу рассчитывать на многое.

– Нисколько. Фигуранткам в Опере не платят.

– На что же я стану жить?

– Пусть это вас не заботит. При вашей внешности немедля найдется добрый десяток богатых сеньоров, которые изъясят вам свое почтение. Вам останется лишь не ошибиться в выборе. Вы еще явитесь нам в бриллиантах с ног до головы.

– Теперь понимаю. Меня возьмут и станут содержать как любовницу.

– Совершенно верно. Это гораздо лучше, чем четыреста франков пенсионера, которого и добиться-то вы сможете лишь с превеликим трудом.

Тут она в изумлении посмотрела на меня, не понимая, говорим ли мы всерьез или просто болтаем; Баллетти отошел, и я заверяю ее, что лучшего выбора ей не сделать, если только она не предпочтет жалкое место горничной у какой-нибудь знатной дамы: его можно будет подыскать. Она отвечает, что не желала бы служить горничной даже у самой королевы.

– А фигуранткой в Опере?

– И то лучше.

– Вы смеетесь?

– Но это все уморительно смешно! Любовница большого вельможи, что осыплет меня бриллиантами! Я выберу, какой подрыхлее.

– Чудесно, дорогой друг; только смотрите не наставьте ему рогов.

– Обещаю, что буду ему верна. Он найдет место моему брату.

– И не сомневайтесь.

– Но пока я не попала в Оперу и не возник еще мой престарелый возлюбленный, на чьи деньги я стану жить?

– На мои, Баллетти и всех моих друзей, у которых нет другого желания, как только видеть ваши красивые глаза, знать, что живете вы в благоразумии, и помогать вашему счастью. Убедил я вас?

– Больше чем убедили; я стану поступать только так, как вы скажете. Только не лишайте меня вашей дружбы.

В Париж мы возвратились уже ночью. Оставив девицу Везиан в отели, я отправился к своему другу ужинать, и тот за столом просил мать переговорить с Лани. Сильвия сказала, что это лучше, чем хлопотать о жалкой пенсии в военной канцелярии. Заговорили об одном плане, что обсуждался в совете Оперы и состоял в том, чтобы пустить все места фигуранток и певиц в оперном хоре на продажу; хотели даже назначить им высокую цену, ибо чем дороже будут места, тем больше уважения станут питать к купившим их девицам. План этот,

имея в виду распущенные нравы, обладал тем не менее видимой разумностью. Он мог бы отчасти придать благородства этой породе, каковая и до сей поры почитается презренной.

В то время как я заметил, многие фигурантки и певицы, хотя и были безобразны и бездарны, жили в свое удовольствие;

ибо заранее было известно, что всякая девица здесь принуждаема обстоятельствами отказаться от благоразумия, как именуют это простые смертные, – та, что решила бы жить благоразумно, умерла бы с голоду. Но если у новенькой достанет ловкости вести себя чинно всего лишь один-единственный месяц, судьба ее будет устроена наверное, ибо завладеть столь почитаемой разумницей станут стремиться самые почтенные сеньоры. Любой вельможа приходит в восторг, когда при появлении девицы на сцене в публике называют его имя¹¹⁶. Он даже иногда спускает ей измены, лишь бы не проматывала его подношений и держала дело в известном секрете; редко когда кто-нибудь возражает против тайного любовника, да и сам содержатель не отправится никогда ужинать к возлюбленной, не известив ее заранее. Причина, отчего французские вельможи так жаждут заполучить на содержание девицу из Оперы, в том, что все девицы эти состоят в Королевской Академии музыки, а стало быть, принадлежат королю.

Я возвратился домой в одиннадцать часов, увидел, что дверь в комнату девицы Везиан приоткрыта, и вошел. Она была в постели.

– Я сейчас встану, мне надобно с вами поговорить.

– Лежите, ведь разговору это не помеха. В постели вы, по-моему, красивее.

– Значит, мне тут больше нравится.

– О чем вы хотели со мною поговорить?

– Ни о чем, всего лишь о будущем моем ремесле. Я стану подвизаться в добродетели, дабы найти человека, который любит добродетель единственно для того, что может ее отнять.

– Так оно и есть, и, поверьте, все в жизни устроено в том же роде. Мы всегда и все направляем к собственному благу, и каждый из нас – тиран. Вот почему лучший из смертных – тот, кто снисходителен. Вы, я вижу, превращаетесь в философа, это мне нравится.

– А что надо делать, чтобы стать философом?

– Надо думать.

– Сколько времени?

– Всю жизнь.

– Что ж, постоянно, не прекращая?

– Не прекращая; но притом всякий зарабатывает, что может, и обзаводится той частицею счастья, какая ему доступна.

– А счастье, как оно проявляется?

– Оно проявляется во всех удовольствиях, что доставляет себе философ, и еще когда он сознает, что доставил их себе своими собственными трудами, поправ притом любые предубеждения.

– Что такое удовольствие? И что такое предубеждение?

– Удовольствие есть наслаждение чувств в настоящий момент; это полное удовлетворение, какое доставляешь им во всем, чего они жаждут; а когда органы чувств, истощенные либо усталые, желают отдохнуть, дабы перевести дух или восстановить силы, удовольствие переносится в область воображения; воображение довольно, когда размышляет о счастье, какое даровал ему покой. Иными словами, философ – это тот, кто не отказывает себе ни

¹¹⁶ Как говорится в романе Ф. А. Шеврие «Мемуары честной женщины» (1753): «Актрисы – это публичные афиши, извещающие о состояниях частных лиц».

в каком удовольствии, если только не ведет оно к большим, нежели само, горестям, и кто умеет их себе придумывать.

– Но вы говорите, что для этого надобно непременно поправить всякие предрассудки. Что такое предрассудок, и как поправить его, и откуда взять для этого силы?

– Вы, дорогой друг, задаете мне вопрос, важнее которого нет в нравственной философии; ответа на него ищешь всю жизнь. Но скажу вам коротко: предрассудком именуется всякий мнимый долг, причину которого нельзя отыскать в природе.

– Значит, главным занятием философа должно сделаться изучение природы?

– Это единственная его обязанность. Ученее всех тот, кто меньше других ошибается.

– А кто из философов, по-вашему, менее всех ошибался?

– Сократ.

– Но он ошибся.

– Да, но в метафизике.

– О! какая мне разница. Полагаю, он мог и обойтись без ее изучения.

– Вы заблуждаетесь, ибо самая нравственность есть метафизика физики – ведь, кроме природы, ничего не существует. По сей причине позволяю вам считать за сумасшедшего любого, кто скажет, будто совершил новое открытие в метафизике. Но теперь я, должно быть, говорю вещи неясные. Не спешите, думайте, выводите следствия из правильных размышлений и никогда не упускайте из виду своего счастья – вы будете счастливы.

– Урок, что вы преподали, нравится мне гораздо больше, чем тот урок танцев, какой станет завтра давать мне Баллетти: я предвижу, что стану скучать, а пока, с вами, мне не скучно.

– Почему знаете вы, что теперь вам не скучно?

– Потому, что мне не хочется, чтобы вы уходили.

– Умереть мне на этом месте, дорогая Везиан, если хоть когда-нибудь философ дал определение скуки лучше вашего! Что за удовольствие! Скажите, отчего мне хочется изъяснить его вам и вас поцеловать?

– Оттого, что душа наша счастлива лишь тогда, когда находится в согласии с нашими чувствами.

– Вот и родилась на свет ваша мысль, божественная Везиан.

– Вы, божественный друг мой, стали ее повивальной бабкой, и я так вам благодарна, что испытываю одно с вами желание.

– Так удовлетворим же наши желания, дорогой друг, и поцелуемся хорошенько.

В подобных рассуждениях провели мы всю ночь напролет и на заре убедились, что радость наша была безупречна – ни разу не вспомнили мы, что дверь комнаты оставалась открытой, а значит, ни разу не возникло у нас причины пойти ее закрыть.

Баллетти дал ей несколько уроков, ее взяли в Оперу, но пробыла она фигуранткой всего два или три месяца. Не отступая ни на шаг от заповедей, что я ей внушил и что представились разумению ее несравненными, она отвергла всех явившихся покорить ее, ибо в том или в другом непременно походили они на Нарбонна. Избранником ее стал господин, не похожий на остальных: то, что он сделал для нее, не сделал бы никто другой. Первым делом заставил он ее уйти из театра. Он взял для нее небольшую ложу, где являлась она всякий день, когда давали оперу, и где принимала содержателя своего и друзей. То был г-н граф де Трессан, или де Треан¹¹⁷, если не ошибаюсь; имени его я достоверно не помню. До самой его смерти была она с ним неизменно счастлива и составила его счастье. Она и теперь еще живет в Париже, не нуждаясь ни в чьей помощи, ибо любовник всем ее обеспечил. О ней все забыли, ибо пятидесятишестилетняя женщина в Париже все равно что мертва. Она съехала из Бургунд-

¹¹⁷ Де Треан – по видимости, любвеобильный маркиз д'Этреан, содержавший К. Везиан до 1767 г.

ской отели, и после я ни разу с нею не говорил; иногда я видел ее в бриллиантах, а она меня, и души наши приветствовали друг друга. Брату ее подыскали место, но он не нашел ничего для себя лучшего, как жениться на девице Пичинелли; теперь она, должно быть, умерла.

Глава XI

Красавица О-Морфи. Обманищик живописец. Я занимаюсь каббалистикой у герцогини Шартрской. Я покидаю Париж. Остановка в Дрездене и отъезд из этого города

На ярмарке Сен-Лоран другу моему Патю пришла охота поужинать с одной фламандской актрисой¹¹⁸ по имени Морфи, он пригласил меня разделить сей каприз, и я согласился. Сама Морфи меня не прельщала, но не все ли равно – довольно и участия к удовольствию друга. Он предложил два луидора, каковые тотчас же были приняты, и после оперы отправились мы к красотке домой, на улицу Двух Врат Спасителя. После ужина Патю захотелось с нею лечь, а я спросил, не найдется ли мне какого канapé в уголку. Сестренка Морфи, прелестная оборванка, к тому же грязная, предложила отдать мне свою постель, но запросила малый экю¹¹⁹; я обещал. Она ведет меня в какую-то комнатку и показывает тюфяк на трех-четырех досках.

– И это ты зовешь постелью?

– Это моя постель.

– Я такой не хочу, и не будет тебе малого экю.

– Вы что, собираетесь спать тут раздетым?

– Конечно.

– Что за вздор! У нас нет простынь.

– Значит, ты спишь одетая?

– Вовсе нет.

– Ладно. Ступай тогда ложись сама и получишь малый экю. Я хочу на тебя посмотреть.

– Хорошо. Только вы не станете ничего со мною делать.

– Ровным счетом.

Она раздевается, ложится и накрывается старым занавесом. От роду ей было тринадцать лет. Я гляжу на девочку и, стряхнув с себя все предрассудки, вижу уже не нищенку, не оборванку, но обнаруживаю безупречнейшую красавицу. Хочу рассмотреть ее всю, она отнекивается, смеется, не хочет; но шестифранковый экю делает ее покорней барашка. Единственным изъяном ее была грязь, и вот я мою ее всю собственными руками; как известно читателю моему, восхищение нераздельно с иного рода способами одобрить красоту, а малышка Морфи, я видел, готова позволить мне все, что угодно, кроме того, к чему я и сам не имел желания. Она предупреждает, что этого не разрешит, ибо это, по мнению старшей ее сестры, стоит двадцать пять луидоров. Я отвечаю, что на сей счет мы поторгуемся в другой раз; а пока она, в залог будущей снисходительности, выказывает и расточает услужливость во всем, что только мог я пожелать.

Отдав сестре шесть франков, малышка Елена¹²⁰, которую, насладившись, оставил я нетронутой, сказала ей, что рассчитывает от меня получить. Та перед уходом отозвала меня со словами, что нуждается в деньгах и сколько-нибудь сбросит. Я отвечаю, что мы поговорим об этом завтра. Мне хотелось показать девушку эту Патю в том виде, в каком видел ее я, чтобы он сознался – более совершенной красоты невозможно и представить. Белая, как лилия, Елена наделена была всеми прелестями, какие только может произвести природа и искусство живописца. Сверх того, прекрасное ее лицо изливало в душу всякого, кто его

¹¹⁸ О'Морфи была ирландка, но приехала в Париж из Фландрии.

¹¹⁹ Малый экю – 3 ливра (франка), большой – 6 ливров. 1 луидор равен 24 ливрам.

¹²⁰ Малышка Елена – Мария Луиза. Казанова, возможно, именует ее так в честь Елены Прекрасной.

созерцал, отраднейший покой. Она была блондинка. Вечером я пришел и, не сойдясь в цене, дал двенадцать франков, чтобы сестра уступила ей свою постель, и наконец уговорился платить всякий раз по двенадцать франков, пока не решусь заплатить все шестьсот. Процент немалый, но Морфи была греческого племени¹²¹ и никаких угрызений совести на сей счет не знала. Я, без сомнения, никогда бы не решился потратить двадцать пять луидоров, ибо после считал бы, что переплатил. Старшая Морфи полагала меня круглым дураком: за два месяца истратил я триста франков ни за что. Относила она это на мою скардность. Какая скардность! Я дал шесть луидоров одному немецкому художнику¹²², чтобы он написал ее с натуры обнаженной, и она вышла как живая. Он изобразил ее лежащей на животе, опираясь руками и грудью на подушку и держа голову так, словно лежала на спине. Искусный художник нарисовал ноги ее и бедра так, что глаз не мог и желать большего. Внизу я велел написать: *O – Morphi*. Слово это не из Гомера, но вполне греческое; означает оно *Красавица*.

Но пути всемогущей судьбы неисповедимы. Друг мой Патю пожелал иметь копию портрета. Возможно ль отказать другу в такой малости? Тот же художник написал копию, отправился в Версаль и показал ее в числе многих других портретов г-ну де Сен-Кентену, каковой показал их королю, а тому пришло любопытство посмотреть, верен ли портрет *Гречанки*. Государь полагал, что когда портрет верен, то сам он вправе присудить оригиналу обязанность погасить тот пламень, каковой зажег он в королевской душе.

Г-н де Сен-Кентен спросил живописца, может ли он доставить в Версаль оригинал Гречанки, и тот отвечал, что, по его мнению, дело это весьма несложное. Он явился ко мне, рассказал, как было дело, и я рассудил, что вышло недурно. Девушка Морфи задрожала от радости, когда я сказал, что ей с сестрою и проводником-художником придется ехать ко двору и положиться на волю Провидения. В одно прекрасное утро она отмыла малышку, прилично ее одела и отправилась с художником в Версаль, где живописец велел ей погулять в парке, пока он не вернется.

Вернулся он с камердинером, каковой отправил его на постоянный двор поджидать сестер, а их самих отвел в зеленую беседку и запер. Через день сама Морфи рассказала, что получасом спустя явился в одиночестве король, спросил, она ли Гречанка, вынул из кармана портрет, рассмотрел хорошенько малышку и сказал:

– *В жизни не видал подобного сходства.*

Он уселся, поставил ее между колен, приласкал и, удостоверившись своей королевской рукой в ее невинности, поцеловал. О-Морфи глядела на него и смеялась.

– Отчего ты смеешься?

– Я смеюсь, потому что вы как две капли воды похожи на шестифранковый экю.

Монарх от подобной непосредственности громко расхохотался и спросил, хочется ли ей остаться в Версале; она отвечала, что надобно договориться с сестрой, сестра же объявила королю, что большего счастья нельзя и желать. Тогда король удалился, прежде заперев их на ключ. Четверть часа спустя Сен-Кентен выпустил их, отвел малышку в покои первого этажа, передал в руки какой-то женщины, а сам со старшей сестрой отправился к немцу, каковой получил за портрет пятьдесят луидоров, а Морфи ничего. Сен-Кентен спросил только ее адрес и заверил, что даст о себе знать. Она получила тысячу луидоров и сама показывала их мне днем позже. Честный немец отдал мне двадцать пять луидоров за мой портрет и написал мне другой, сделав копию с портрета, что был у Патю. Он предложил писать для меня бесплатно всех красавиц, каких мне будет угодно. С величайшим удовольствием глядел я, как радуется славная фламандка, что, любуясь пятьюстами двойных луидоров, полагала себя разбогатевшей, а меня – своим благодетелем.

¹²¹ «Грек» значит плут, шулер.

¹²² Его имя не установлено. Описанию Казановы соответствуют две картины Буше.

– Я не ожидала столько денег; Елена и впрямь хорошенькая, но я не верила, когда она рассказывала о вас. Возможно ль, дорогой друг, что вы оставили ее девственницей? Скажите правду.

– Если она была девственницей прежде, то, уверяю вас, через меня ею быть не перестала.

– Прежде была наверное, ибо никому, кроме вас, я ее не поручала. Ах! Благородный вы человек! Она суждена была королю. Кто бы мог подумать. Господь всемогущ. Дивлюсь вашей добродетели. Идите сюда, я вас поцелую.

О-Морфи пришлось по сердцу королю, каковой называл ее только этим именем, даже более простодушием своим, что было для него в диковинку, нежели красотой черт, хотя и самых правильных. Его Величество поселил ее на квартире в Оленьем Парке¹²³, где пологительно держал свой сераль и где позволено было появляться лишь дамам, представленным ко двору. Через год малышка разрешилась сыном, каковой был отправлен в неизвестном направлении, ибо пока королева Мария была жива, король не желал знать своих бастардов.

Через три года О-Морфи впала в немилость. Король дал ей четыреста тысяч франков приданого и выдал замуж в Бретань, за одного офицера генерального штаба. В 1783 году я повстречал сына от этого брака в Фонтенбло. Было ему двадцать пять лет, и про историю своей матери, на которую походил как две капли воды, он ничего не знал. Я просил передать ей от меня поклон и оставил имя свое в его записной книжке.

Причиной, по какой впала в немилость эта прелестница, была злая шутка г-жи де Валентинуа, невестки князя Монакского, известной всему Парижу. Дама эта, нанеся однажды визит в Олений Парк, научила О-Морфи рассмешить короля и спросить, как он обходится со своей старухой женою. Незатейливая О-Морфи задала королю дерзкий и оскорбительный вопрос в этих самых словах и настолько его поразила, что государь, поднявшись и испепелив ее взором, произнес:

– Несчастная, кто подговорил вас задать мне подобный вопрос?

Дрожащая О-Морфи созналась; король повернулся к ней спиной, и более она его не видела. Графиня де Валентинуа вновь показалась при дворе лишь два года спустя. Людовик XV знал, что как супруг не оказывает жене должного уважения, и желал, по крайней мере, вознаградить ее за это как король. Горе тому, кто осмелился бы выказать ей непочтительность.

Несмотря на весь ум французов, Париж был и вечно пребудет городом, где обманщику сопутствует удача. Когда обман раскрыт, все над ним потешаются и смеются, но громче всех смеется обманщик, ибо успел уже разбогатеть *recto stat famula talo*¹²⁴. Эта черта нации, столь легко попадающей в тенета, происходит от всевластия моды. Обман нов и необычен, а значит, входит в моду. Довольно вещи иметь лишь способность удивлять каким-нибудь необыкновенным свойством – и вот уже все принимают ее, и никто не скажет «это невозможно», ибо боится прослыть глупцом. Во Франции одни только физики знают, что между способностью и действием дистанция бесконечная, тогда как в Италии эта аксиома неколебимо утвердилась во всех умах. Один живописец за несколько времени разбогател, объявив, что способен написать портрет человека, не видя его; просил он только одного – чтобы заказчик портрета хорошенько все рассказал и описал лицо с такою точностью, чтобы живописцу нельзя было ошибиться. Получалось из этого, что портрет делал еще более чести тому, кто рассказывал, нежели живописцу; порой же заказчик принужден был говорить, будто портрет совершенно похож, ибо в ином случае художник выдвигал законнейшее из оправданий и объявлял, что

¹²³ Олений Парк – квартал в Версале.

¹²⁴ Точнее, *Anrectostetfabulatalo*... устоит на ногах иль провалится пьеса (*лат.*) (Гораций. Эпистолы, II, I, 176. Пер. Н. Гинцбурга).

коли портрет вышел не похож, то вина здесь того, кто не сумел описать ему облик человека. Я ужинал у Сильвии, когда кто-то сообщил эту новость – и, заметим, без всякого смеха и не подвергая сомнению искусство живописца, каковой, говорили, написал уже более сотни портретов, и все весьма схожи. Все нашли, что это очень мило. Один я, умирая от смеха, сказал, что это обман. Тот, кто принес известие, в гневе предложил мне побиться об заклад на сто луидоров, но я и тут посмеялся, ибо спорить о подобном предмете значит рисковать, что тебя обведут вокруг пальца.

– Но портреты похожи.

– Не верю нисколько; а если и похожи, стало быть, тут какое-то мошенничество.

Сильвия одна была на моей стороне и приняла приглашение рассказчика отправиться вместе со мной на обед к этому художнику. Придя, видим мы множество живописных портретов, и все будто бы похожи; но судить мы об этом не могли, ибо не были знакомы с оригиналами.

– Не напишете ли, сударь, портрет моей дочери, не видя ее? – спрашивает Сильвия.

– Конечно, сударыня, если только вы уверены, что сумеете описать мне ее лицо.

Тут мы перемигнулись, и немедля рассказано было все, что только позволяли приличия. Звали живописца Сансон; он угостил нас добрым обедом, а разумная племянница его понравилась мне беспрдельно. Я был в добром расположении духа, непрестанно ее смешил и сумел расположить к себе. Живописец сказал нам, что более всего любит не обед, но ужин и почтет за счастье видеть нас за ужином всякий раз, как мы решим оказать ему эту честь. Он показал более полусотни писем из Бордо, Тулузы, Лиона, Руана, Марселя: в них получил он заказ на портреты с описанием тех лиц, что желали видеть изображенными; три-четыре из них я прочел с неизъяснимым удовольствием. Платили ему вперед.

Двумя или тремя днями позже встретил я на ярмарке его хорошенькую племянницу, каковая упрекнула меня, что я не появляюсь у дяди за ужином. Племянница была весьма привлекательна, и, польщенный упреком, я на завтра отправился туда, а через неделю уже не мог отказаться от этих визитов. Я влюбился в племянницу, а она была неглупа и, не любя меня, желала только посмеяться и не давала мне никакой награды. Однако же я не терял надежды и понимал, что лечу в пропасть.

Однажды пил я в одиночестве у себя в комнате кофе и думал о ней, как вдруг является ко мне с визитом молодой человек. Я его не узнал, и он объяснил, что имел честь ужинать со мною у живописца Сансона.

– Да, да, сударь, простите, что не узнал вас сразу.

– Немудрено: за столом вы глядели лишь на мадмуазель Сансон.

– Возможно: согласитесь, она очаровательна.

– Охотно соглашусь – к несчастью своему, я слишком хорошо это знаю.

– Следственно, вы в нее влюблены.

– Увы, да.

– Так заставьте себя полюбить.

– Именно это я и пытаюсь сделать во весь прошедший год, и у меня появилась было надежда, как тут явились вы и отняли ее.

– Кто, сударь? Я?

– Вы самый.

– Весьма сожалею; однако ж не понимаю, чем могу вам помочь.

– Но это совсем не трудно; если позволите, я подскажу, как могли бы вы поступить, когда б пожелали оказать мне великое одолжение.

– Скажите, сделайте милость.

– Вы могли бы впредь никогда не появляться в ее доме.

– Это и впрямь все, что я мог бы сделать, когда бы мне чрезвычайно захотелось одолжить вас; а вы полагаете, тогда она вас полюбит?

– О! это уже мое дело. Вы покамест не ходите туда, а об остальном я позабочусь сам.

– Признаюсь, сударь, я могу вам оказать столь величайшую любезность, однако, позвольте вам заметить, мне странно, что вы на это рассчитывали.

– Рассчитывал, сударь, по долгому размышлению. Я признал в вас человека весьма умного, а потому был уверен, что для вас не составит труда вообразить себя на моем месте и что, взвесив все, вы вряд ли пожелаете биться со мною не на жизнь, а на смерть из-за барышни, на которой, полагаю, не имеете намерения жениться, тогда как единственная цель моей любви – брачные узы.

– А если б я тоже хотел просить ее руки?

– Тогда бы оба мы оказались достойны жалости, и я более, нежели вы, ибо, покуда я жив, мадмуазель Сансон не бывать женою другого.

Молодой человек был весьма строен, бледен, серьезен, холоден, как лед, и влюблен; то, что он явился ко мне в комнату и держал подобные речи с поразительной невозмутимостью, заставило меня задуматься. Добрых четверть часа шагал я взад-вперед, дабы сообразить истинную цену обоим поступкам и понять, который из них окажет более мою отвагу и сделает меня достойнее собственного уважения. И я понял, что мужество мое явится более в том поступке, каковой представит меня в глазах соперника человеком более мудрым, нежели он сам.

– Что станете вы думать обо мне, сударь, – спросил я с решительным видом, – если впредь я откажусь бывать у мадмуазель Сансон?

– Что вы сжалились над несчастным, который вечно будет вам признателен и готов пролить за вас свою кровь до последней капли.

– Кто вы?

– Я Гарнье, единственный сын Гарнье, виноторговца, что на улице Сены.

– Что ж, господин Гарнье, я не стану бывать у мадмуазель Сансон. Будем друзьями.

– По гроб жизни. Прощайте, сударь.

Он удаляется, а минутою позже приходит ко мне Патю; я рассказываю, как было дело, и он объявляет, что я герой, обнимает меня, а после, подумав, говорит, что на моем месте поступил бы точно так же, но на месте того, другого – нет.

Камилла, сестра Коралины, с которой я более не встречался, передала мне просьбу графа де Мельфора, в то время полковника Орлеанского полка, чтобы я через свою каббалистику¹²⁵ дал ответ на два вопроса. Я получаю два весьма темных, но многозначительных ответа, запечатываю и отдаю Камилле, а она просит меня назавтра отправиться вместе с нею в одно место, но не хочет сказать, куда именно. Она ведет меня в Пале-Рояль, и по маленькой лесенке поднимаемся мы в покои госпожи герцогини Шартрской, каковая является четверть часа спустя и, обласкав королеву театра, благодарит ее, что привела мою особу. После короткого приступа, весьма достойного и учтивого, но нимало не церемонного, она, держа в руках данные мною ответы, начинает перечислять все затруднения, какие ей в них встретились. Показав слегка удивление, что вопросы принадлежали Ее Высочеству, я отвечал, что понимаю в каббале, но вовсе не умею толковать ее, что ей поэтому придется доставить себе труд и, дабы прояснить ответы, составить самой новые вопросы. Тогда она пишет все, чего не поняла и желала бы узнать; я говорю, что ей надобно разделить вопросы, ибо нельзя вопрошать оракула о двух вещах сразу, и она велит мне поставить вопросы самому. Я отве-

¹²⁵ Еще в 1746 г. Казанова вошел в доверие к сенатору Матео Брагадину (который стал его приемным отцом), убедив, что умеет советоваться со своим Духом с помощью вопросов и ответов, записанных цифрами. С тех пор он умело пользовался своей репутацией чернокнижника. Граф де Мельфор и герцогиня Шартрская были влиятельными масонами.

чаю, что она должна все написать своей рукой, вообразив, будто расспрашивает некий разум, каковому ведомы все тайны. Она пишет, в семи или восьми вопросах, все, что хочет узнать, потом перечитывает их сама и говорит мне с видом весьма величественным, что желала бы не сомневаться, что написанное ею никто, кроме меня, не увидит. Я даю ей в том честное слово, читаю и вижу не только то, что она права, но и то, что, положив вопросы в карман, дабы завтра вернуть их вместе с ответами, рисковал бы запятнать свою репутацию.

– Сударыня, для работы этой мне надобно всего лишь три часа, и я хочу, чтобы Ваше Высочество были покойны. Если Ваше Высочество заняты, отправляйтесь по делам, а меня оставьте здесь, только чтобы никто мне не мешал. Когда я кончу, то все непременно запечатаю; скажите только, кому передать пакет.

– Мне самой либо госпоже де Полиньяк, если вы с нею знакомы.

– Да, сударыня, я с нею знаком.

Дав мне собственными руками огниво, дабы я, когда придет нужда запечатать пакет, мог зажечь маленькую свечку, герцогиня удалилась, а с нею и Камилла. Я остался, запертый на ключ, а тремя часами позже, когда я как раз окончил, явилась госпожа де Полиньяк, и я вручил ей пакет и удалился.

Герцогине Шартрской, дочери принца Конти, было двадцать шесть лет. Ум ее был такого свойства, какой делает всех наделенных им женщин восхитительными; весьма пылкая, без предрассудков, веселая, остроумная, она любила удовольствия и предпочитала их надежде на долгую жизнь. *Пусть будет короткой и приятной*: слова эти не сходили с ее уст. Сверх того, была она добра, щедра, терпелива, снисходительна и постоянна в пристрастиях. И к тому же очень хороша собою. Она горбилась – и смеялась, когда Марсель, учитель манер, хотел исправить ее осанку. Танцевала она, опустив голову и загребая ногами, и, несмотря на это, была очаровательна. Главным изъяном, досаждавшим ей и портившим красивое ее лицо, были прыщи, причиною которых, как полагали, являлась печень и которые на самом деле происходили от какого-то порока крови¹²⁶; он-то в конечном счете и привел ее к смерти, с которой боролась она до последней минуты.

Вопросы, что задала она моему оракулу, предметом своим имели ее сердечные дела, и среди прочего желала она узнать лекарство, что помогло бы ей избавиться от прыщиков на нежной ее коже: они и в самом деле огорчали всякого, кто на нее смотрел. Прорицания мои были темны всякий раз, когда я не знал обстоятельств дела, но о болезни ее высказывались ясно, и по этой самой причине стали ей дороги и необходимы.

Назавтра Камилла, как я и ждал, прислала мне после обеда записку, в которой просила бросить все и непременно быть к пяти часам в Пале-Рояле, в том самом кабинете, куда она меня приводила. Я явился, старый камердинер, ожидавший меня, немедленно вышел, и пять минут спустя предо мною была прелестная принцесса.

После очень краткого, но отменно учтивого приветствия она вынула из кармана все мои ответы и спросила, есть ли у меня дела; я заверил, что единственное мое дело – служить ей.

– Прекрасно; я тоже никуда не пойду, и мы поработаем.

Тут она показала разные новые вопросы, что были у нее приготовлены на всякий предмет, и в частности относительно лекарства от прыщей. Оракул мой сказал ей что-то, чего никто не мог знать, и внушил к себе доверие. Я строил предположения и угадал; да если б и не угадал, все равно: у меня было то же недомогание, я кое-что понимал в физике и знал, что скорое избавление от кожной болезни местными средствами могло бы убить принцессу. Я дал уже ответ, что не ранее нежели через неделю она сможет излечиться от внешнего прояв-

¹²⁶ По мнению современников, причиной прыщей была венерическая болезнь (Казанова пишет дальше: «у меня было то же недомогание»). Прописал он ей традиционное средство от угрей – отвар подорожника.

ления болезни на лице и что надобно будет год соблюдать режим, дабы излечиться вполне; но через неделю она будет выглядеть здоровой. Короче, провели мы три часа, дабы узнать все, что должна она делать. Познания оракула возбудили в ней любопытство, она повиновалась ему во всем, и неделей позже прыщи исчезли совсем. Я всякий день давал ей слабительное, прописал, что ей есть, и запретил употреблять любые мази, велел только умываться перед сном и по утрам попутниковой водою. Скромный оракул прописал принцессе умывать той же водой все места, где ей желательно было получить тот же результат, и принцесса, радуясь сдержанности оракула, повиновалась.

В тот день, когда принцесса появилась в Опере с совершенно чистым лицом, я специально отправился туда. После Оперы прогуливалась она по главной аллее своего Пале-Рояля, за нею шли самые знатные дамы, и всякий поздравлял ее; она заметила меня и удостоила улыбки. Я почувствовал себя счастливейшим человеком на свете. Лишь Камилла, г-н де Мельфор и г-жа де Полиньяк знали, что я имел честь быть у принцессы оракулом. Однако на следующий день после того, как побывала она в Опере, прыщики снова запятнали ее кожу, и мне было велено с утра отправляться в Пале-Рояль. Старик камердинер, не знавший, кто я такой, проводил меня в дивный кабинет, рядом с другим, где находилась ванная; принцесса явилась с опечаленным видом: на подбородке и на лбу у нее появились прыщики. В руках она держала вопрос к оракулу, вопрос был короткий, и я развлечения ради показал ей, как самой получить ответ. Переводя числа в буквы, она с удивлением обнаружила, что ангел укоряет ее за нарушение предписанного режима. Она не могла это отрицать. Она съела ветчины и пила ликеры. В этот миг вошла горничная и шепнула ей что-то на ушко. Принцесса велела ей подождать минуту за дверью.

– Не сердитесь, сударь, – сказала она, – сейчас придет сюда один человек, он вам друг и умеет хранить тайну.

С этими словами кладет она все бумаги, не имеющие касательства к своей болезни, в карман и просит войти. Входит человек, которого я решительно принял за конюха. То был г-н де Мельфор.

– Посмотрите, г-н Казанова научил меня каббалистике, – сказала она и показала графу полученный ею ответ. Граф не верил.

– Что ж, – обратилась она ко мне, – надобно его убедить. Как вы думаете, что мне спросить?

– Все, что будет угодно Вашему Высочеству.

Подумав, она вынимает из кармана коробочку слоновой кости и пишет: *Скажи, отчего эта мазь мне больше не помогает.*

Она составляет пирамиду, столбцы, ключи, как я ее учил, и, когда дело доходит до того, чтобы получить ответ, я показываю ей, как производить сложение и вычитание, от которых, казалось бы, получаются числа, но которые притом были вполне произвольны, а после, велел ей самой перевести числа в буквы, выхожу якобы по какой-то надобности. Возвращаюсь я, когда, как мне кажется, она должна была закончить перевод, и вижу, что герцогиня вне себя от изумления.

– Ах, сударь! Какой ответ!

– Быть может, ошибочный; так иногда бывает.

– Отнюдь нет: божественный! Вот он: *Она действует лишь на кожу женщины, которая не рожала детей.*

– Не вижу ничего удивительного в таком ответе.

– Потому что вы не знаете, что это мазь аббата де Броса, она излечила меня пять лет назад, за десять месяцев до того, как я родила г-на герцога де Монпансье. Я бы отдала все на свете, чтобы самой научиться этой каббалистике.

– Как, – говорит граф, – это та самая мазь, историю которой я знаю?

– Она самая.

– Поразительно.

– Я бы хотела спросить еще одну вещь, она касается женщины, имя которой мне не хочется произносить вслух.

– Скажите: женщина, о которой я думаю.

Тогда она спрашивает, чем больна эта женщина, и получает с моей помощью ответ, что та хочет обмануть своего мужа. Тогда герцогиня громко вскрикнула.

Было очень поздно, и я удалился, а со мною и г-н де Мельфор, каковой прежде переговаривал с принцессой наедине. Он сказал, что ответ каббалы относительно мази поистине удивительный; и вот как обстояло дело.

– У г-жи герцогини, – рассказал он, – такой же прелестной, как и теперь, на лице было столько прыщей, что г-н герцог от отвращения не имел силы спать с нею. И ей бы никогда не иметь детей, когда бы аббат де Брос не излечил ее этой мазью и она не отправилась во всей красоте во Французскую комедию, в ложу королевы. И вот по случайности герцог Шартрский отправляется в комедию, не зная, что супруга его здесь, и садится в ложе короля. Напротив он видит жену, находит ее прелестной, спрашивает, кто это, ему отвечают, что это его жена, он не верит, выходит из ложи, идет к ней, делает ей комплимент за красоту и возвращается назад в свою ложу. В половине двенадцатого все мы находились в Пале-Рояле, в покоях герцогини, что играла в карты. Внезапно случается вещь невероятная: паж объявляет герцогине, что герцог, супруг ее, идет к ней; герцогиня встает, приветствуя его, и он говорит, что в комедии представилась она ему необычайно красивой, и теперь он, пылая любовью, просит дозволения сделать ей ребенка. При этих словах мы немедленно удалились; было это летом сорок шестого года, а весною сорок седьмого разрешилась она герцогом де Монпансье, каковому ныне пять лет, и он в добром здравии. Но после родов прыщи появились снова, и мазь больше не помогала.

Рассказав сей анекдот, граф вытащил из кармана овальную черепаховую шкатулку с портретом госпожи герцогини, весьма похожим, и передал мне от ее имени, добавив, что если мне угодно будет оправить портрет в золото, то золото она мне посылает тоже, и вручил сверток в сотню луидоров. Я принял его, моля графа засвидетельствовать принцессе мою величайшую признательность, но оправлять портрет в золото не стал, ибо в то время весьма нуждался в деньгах. Впоследствии герцогиня посылала за мною из Пале-Рояля уже не для того, чтобы лечить прыщи: она ни за что не желала подчиниться режиму; она заставляла меня проводить по пять-шесть часов то в одном углу, то в другом, и сама то удалялась, то присоединялась ко мне и посылала мне обед или ужин с тем же старичком, каковой по-прежнему не произносил ни слова. Вопросы к оракулу касались только ее секретов или чужих, до которых было ей дело; истин, что открывались ей, я знать не мог. Она очень хотела, чтобы я научил ее своей каббалистике, но никогда не настаивала, а только передала мне через г-на де Мельфора, что если мне угодно будет научить ее расчетам, она дарует мне должность, на которой я стану получать двадцать пять тысяч ливров ренты. Увы! это было невозможно. Я был влюблен в нее до безумия, но никогда ничем не показал своей страсти. Подобная удача казалась мне слишком великой: я боялся, что она подчеркнутым презрением унижит меня; быть может, я был глупец. Знаю только, что всегда раскаивался в том, что не признался ей в любви. Правда, я пользовался множеством привилегий, которыми, быть может, она бы не позволила наслаждаться, знай она, что я в нее влюблен. Я боялся, открывшись, утратить их. Однажды она пожелала узнать через мою каббалу, возможно ли излечить от рака груди г-жу Ла Поплиньер. Мне вздумалось ответить, что у дамы этой нет никакого рака и чувствует она себя отлично.

– Как, – сказала она, – весь Париж знает об этом, она сама со всеми советуется; и все же я верю каббале.

Повстречав при дворе г-на де Ришелье, она сказала, что уверена в притворстве г-жи Ла Поплиньер; маршалу тайна была известна, и он отвечал герцогине, что она ошибается. Тогда она предложила ему побиться об заклад на сто тысяч франков. Когда она мне об этом рассказала, я вздрогнул.

– Он принял пари?

– Нет. Он был удивлен, а ему, как вы знаете, должно быть все известно достоверно!

Тремя-четырьмя днями позже она сообщила, что г-н де Ришелье признался ей: рак – это всего лишь уловка, чтобы разжалобить ее мужа, которого хотела она вернуть; маршал сказал, что заплатил бы тысячу ливидоров за то, чтобы узнать, как она об этом догадалась.

– Хотите выиграть их? – спросила она. – Тогда я ему обо всем расскажу.

– Нет, нет, сударыня, умоляю вас.

Я испугался ловушки. Я знал, что за особа маршал: история дыры в каменной стенке, через которую сей знаменитый сеньор входил к этой женщине, была известна всему Парижу¹²⁷. Сам г-н де Ла Поплиньер разгласил эту историю и не пожелал более видеть жену, которой давал двенадцать тысяч франков в год. Герцогиня сочинила на сей случай прелестные куплеты, но видел их, кроме самых близких людей, только король, каковой очень ее любил, хотя и отпускала она по временам в его адрес убийственные остроты. Однажды она спросила его, правда ли, что в Париж едет прусский король; король отвечал, что это сказки, и она тут же возразила, что весьма сожалеет: ей до смерти хочется увидеть хотя бы одного настоящего короля.

Брат мой уже написал в Париже множество картин и решился наконец представить одну на суд г-ну де Мариньи. И вот в одно прекрасное утро отправились мы вместе к этому господину, каковой жил в Лувре, и все художники приходили к нему туда с визитом. Мы оказались в зале, смежном с его покоем, и стали ожидать его появления, ибо пришли первыми. Картина была выставлена там же. То была батальная сцена во вкусе Бургиньона.

Тут входит какой-то человек в черном, видит картину, останавливается перед нею на миг и говорит сам себе:

– Это дурно.

Минутою позже являются двое других, глядят на картину, смеются и говорят:

– Это написал какой-то ученик.

Я лорнировал брата: он сидел подле меня и обливался потом. Не прошло и четверти часа, как зала была полна народа, и скверная картина сделалась предметом общих насмешек; все, собравшись в кружок, бранили ее. Бедный мой брат изнемогал и благодарил Бога, что никто его не знает.

Состояние духа его меня сместило, а потому я встал и вышел в другую залу. Брат пошел за мною, и я сказал, что сейчас выйдет г-н де Мариньи, и если он скажет, что картина хороша, то отомстит всем этим людям; однако ж он, с присущим ему умом, оказался иного мнения. Мы скорей спустились по лестнице и сели в фиакр, велев слуге забрать картину. Так вернулись мы до мой, и брат нанес картине по меньшей мере двадцать ударов шпагой; в тот же миг принял он решение уладить свои дела и ехать прочь из Парижа, дабы где-нибудь в другом месте учиться и стать мастером в избранном им искусстве. Мы решили отправиться в Дрезден.

Прежде чем завершить приятное пребывание свое в этом волшебном городе, за два или три дня до отъезда обедал я в одиночестве в Тюильри, у привратника Фельянтинских ворот¹²⁸ по имени Дорвань. После обеда жена его, довольно миленькая, выставила мне счет, где все

¹²⁷ Знаменитый гуляка маршал де Ришелье снял по соседству с генеральным откупщиком Ла Поплиньером дом, где был потайной ход, оканчивавшийся в камине спальни г-жи Ла Поплиньер. Муж, узнав о том, выгнал жену. Она умерла от рака в 1756 г.

¹²⁸ Т. е. выходивших на монастырь фельянтинцев.

стоило вдвое; я хотел было сбавить цену, но она не желала уступить ни лиара¹²⁹. Пришлось мне платить, а поскольку счет внизу был подписан словами: *привратница Дорвань*, я взял перо и приписал перед словом *Дорвань* еще три буквы. Сделав это, я ушел и направился к разводному мосту, прогуляться. Я успел уже позабыть о привратнице, взявшей с меня вдвое, как вдруг вижу перед собою коротышку в шапочке на одном ухе, с громадным букетом в бутоньерке и шпагой на поясе, чашка которой выдавалась на два дюйма; он приступает ко мне с наглым видом и без лишних слов объявляет, что желает перерезать мне горло.

– Вам придется подпрыгнуть, ибо в сравнении со мною вы недомерок, и я вам отрежу уши.

– Черт подери, сударь!

– Спокойней, мужлан. Следуйте за мной.

Я широкими шагами иду к перекрестку аллеи, там никого нет, и я спрашиваю наглеца, что ему угодно и по какой причине решил он вызвать меня на поединок.

– Я кавалер де Тальви. Вы оскорбили честную женщину, которая находится под моим покровительством. Защищайтесь.

С этими словами он вытаскивает шпагу; я немедленно выхватываю свою и, прежде чем он успел прикрыться, раню его в грудь. Он отскакивает и говорит, что я ранил его как убийца.

– Вы лжете; сознавайтесь, покуда я вас не придушил.

– Не придушите, я ранен; но мы еще с вами по квитаемся, и пусть рассудят ваш удар.

Я оставил его на перекрестке; однако удар мой нанесен был по правилам – он взял в руки шпагу прежде меня, а если не прикрылся, так сам виноват.

В середине августа месяца покинули мы с братом Париж, где я прожил два года и где наслаждался всеми радостями жизни без всякого для себя ущерба, разве что нередко имел нужду в деньгах. В конце месяца через Мец и Франкфурт прибыли мы в Дрезден и повидались с матерью, каковая, радуясь, что встретила два первых плода своего замужества, которых не надеялась уже видеть, приняла нас весьма нежно. Брат мой целиком предался изучению своего искусства и копировал в знаменитой галерее замечательные батальные картины величайших живописцев. Там провел он четыре года, прежде чем решил, что теперь уже в силах, не боясь критики, вновь возвратиться в Париж. В своем месте я расскажу, как оба мы вернулись туда почти в одно время; но сперва читатель мой увидит, как судьба обходилась со мною, то враждебно, то дружески, в остальное время.

Жизнь, какую вел я в Дрездене до конца карнавала следующего, *1753 года*, не содержала ничего примечательного. Единственное, что я совершил, – это ради удовольствия комедиантов сочинил одну трагикомическую пьесу, в которой два персонажа играли роль Арлекина. Пьеса моя была пародия на «Братьев-соперников» Расина¹³⁰. Король от души смеялся над забавными несообразностями, какими полна была моя комедия, и в начале поста получил я прекрасный подарок от щедрого этого государя, чьим помощником был блистательнейший во всей Европе министр¹³¹. Я распрощался с матерью, братом и сестрой, что вышла замуж за Петера-Августа, придворного учителя игры на клавесине, каковой скончался два года назад, оставив вдову свою в честном достатке, а семейство счастливым.

В первые три месяца, что прожил я в Дрездене, перезнакомился я со всеми публичными красотками и нашел, что по части форм превосходят они итальянок и француженок, однако ж весьма уступают им в манерах, остроумии и искусстве нравиться, каковое состоит главным образом в том, чтобы представить влюбленность во всякого, кто сочтет их привлека-

¹²⁹ *Лиар* – мелкая монета, четверть су.

¹³⁰ «Фиваида, или Братья-соперники» (1669). Пародия Казановы называлась «Моллюккеида, или Близнецы-соперники, комедия в трех актах». Премьера состоялась в Королевском дрезденском театре 22 февраля 1752 г.

¹³¹ *Министр* – граф Генрих фон Брюль.

тельными и заплатит. По этой причине известны они своею холодностью. Остановило меня в моих набегах лишь недомогание, что сообщила мне одна красавица венгерка из заведения г-жи Крепс. Было оно седьмым по счету, и я, как обыкновенно, в полтора месяца избавился от него через строгий режим.

Во всю свою жизнь я только и делал, что упорно стремился к болезни, покуда был здоров, и столь же упорно стремился выздороветь, когда заболел. И в том и в другом преуспел я с замечательной равномерностью, и нынче в этом отношении совершенно здоров; и хотелось бы мне повредить еще своему здоровью, да возраст не позволяет. Болезнь эта, именуемая у нас французской, не сводит раньше времени в могилу, если умело ее лечить; от нее остаются только шрамы, но этому легко утешаешься при мысли, что добыты они благодаря удовольствию: так солдатам нравится глядеть на свои раны, что являют всем их доблесть и служат к их славе.

Король Август, курфюрст Саксонский, любил своего первого министра графа фон Брюля за то, что граф, соразмерно богатству, тратил больше денег, нежели он сам, и для него не было на свете ничего невозможного. Король сей был заклятый враг бережливости, смеялся над теми, кто его грабил, и тратил много только для того, чтобы позабавиться. Ему не доставало ума, чтобы смеяться политическим глупостям венценосцев и чудачествам людей всякого разбора, а потому держал он у себя на службе четырех шутов, каковые по-немецки зовутся *дураками*; долгом их было развлекать его самыми настоящими непристойностями, свинскими выходками и наглостью. Нередко сии господа дураки получали от повелителя своего немалые милости для тех, за кого просили. Оттого случалось, что частенько дураков этих почитали и водили с ними дружбу порядочные люди, нуждавшиеся в их покровительстве. Есть ли на свете человек, которого бы нужда не заставила делать низости? Сам Агамемнон говорит Менелаю у Гомера, что теперь принуждены они будут унизиться¹³².

Заблуждаются те, кто нынче, в беседе ли либо в историческом сочинении, уверяют, будто причиною тому, что называли в то время гибелью Саксонии, стал граф фон Брюль. Человек этот был лишь верным министром своего государя; память по нем вполне оправдывают дети, никто из которых не унаследовал ни гроша из пресловутых великих богатств отца.

Наконец, нашел я в Дрездене самый пышный во всей Европе двор, где расцветали все виды искусств. Здесь не встретил я волокитства, ибо сам король Август волокитою не был, а саксонцы не способны к этому по природе – если только государь не подаст им примера.

Прибыв в Прагу, где не имел намерения задержаться, отнес я только письмо от Амореволи к оперному антрепренеру Локателли да повидал актрису Морелли, старинную свою знакомую, каковая заменила мне все и вся в те три дня, что провел я в этом обширном городе. Но когда я собирался уже уезжать, то повстречал на улице старинного своего друга Фабриса, теперь уже полковника; он просил оказать ему любезность и отобедать с ним. Я обнимаю его, но возражаю, что должен ехать.

– Уедете вечером, с одним моим другом, и нагоните дилижанс.

Я сдался на его просьбы и не пожалел. Он мечтал о войне и, когда случилась она двумя годами позже, достигнул великой славы.

Что же до Локателли, то он был чудак, с которым стоило свести знакомство. Всякий день стол его был накрыт на тридцать человек; приглашал он к обеду актеров, актрис, танцовщиков и танцовщиц, и еще своих друзей, а сам всегда задавал тон на собственных пиршествах, ибо страстно любил хорошо поесть. Мне еще представится случай рассказать о

¹³² «Всех приветливо чествуй и ни перед кем не величься. – Нынче и мы потрудимся, как прочие; жребий таков наш» (Илиада, песнь X, 69–70, пер. Н. Гнедича).

нем, когда дойду я до своего путешествия в Петербург: там я повстречал его, и там он умер не так давно девяноста лет от роду.



1754. Венеция¹³³

Том IV¹³⁴

Глава V

Я дарю свой портрет М. М. Она делает мне подарок. Я иду с нею в оперу. Она играет в карты и возвращает мне одолженные деньги. Философическая беседа с М. М. Письмо от К. К. Ей все известно. Бал в монастыре; подвиги мои в костюме Пьеро. К. К. является на свидание вместо М. М. Нелепая ночь, что я провожу с нею

Во второй день нового года, прежде чем идти в домик для свиданий, отправился я к Лауре¹³⁵ передать письмо для К. К. и получил от нее письмо, немало меня посмешившее. М. М. приобщила девицу эту не только сапфических тайн, но и высот метафизики. Та сделалась безбожницей. Она писала, что не желает давать отчета в своих поступках духовнику, и тем более не желает говорить ему неправду, а потому не рассказывает ничего. Он, писала она, сказал, что я, быть может, оттого не могу ни в чем исповедаться, что не слишком внимательно исследую свою совесть, а я отвечала, что сказать мне ему нечего, но если ему так угодно, то я согрешу как-нибудь нарочно, дабы потом покаяться.

Вот копия письма от М. М., какое обнаружил я в домике для свиданий:

«Пишу тебе, черненький мой, лежа в постели: похоже, ноги решительно отказываются меня держать; но это пройдет, ибо ем я и сплю хорошо. Письмо твое с заверением, что кровопролитие никаких последствий для тебя не имело, пролило мне бальзам на сердце. Постараюсь убедиться в этом в Венеции, в День Королей¹³⁶. Напиши, могу ли я на это рассчитывать. Мне бы хотелось пойти в оперу. Запрещаю тебе до конца жизни есть салат из яичных белков. Впредь, когда станешь приходить в наш дом, спроси, есть ли кто-нибудь; если тебе ответят, что есть, ты уйдешь; друг мой будет поступать так же, и вы не встретитесь; однако ж долго это не продлится, ибо ты безумно ему понравился, и он непременно желает свести с тобой знакомство. Он не верил, как он говорит, что в природе бывают столь сильные мужчины; но полагает, что заниматься так любовью – значит бросать вызов смерти, ибо, как он утверждает, пролитая тобою кровь, должно быть, исторгнута мозгом. Что же он скажет, когда узнает, что ты смеешься над этим? Но вот что забавно. Он тоже хочет есть салат из яичных белков, и я принуждена просить тебя дать мне немного твоего уксусу четырех воров; он говорит, что знает, что такой уксус существует, но в Венеции его не сыскать. Он сказал, что ночь провел сладостную и вместе ужасную, и изъясил опасения относительно

¹³³ Из Дрездена Казанова едет в Вену, потом возвращается в Венецию. В июне 1753 г. он становится любовником пятнадцатилетней К. К. (Катерины Капреты), сватается к ней, но ее отец отвечает отказом и отправляет девушку в пансион в монастырь Девы Марии Ангелов в Мурано. Казанова ходит в монастырскую церковь в дни праздников, его замечает монахиня М. М. (Мария Магдалина, по-видимому Мария-Элеонора Мишиэль) и в ноябре заводит с ним интригу. Одновременно она становится весьма близкой подругой К. К. Возлюбленным М. М., как утверждает Казанова, был французский посланник де Бернис (тот в своих мемуарах об этом не упоминает), который и подсмотрел из потайной комнаты ее свидание с венецианцем 31 декабря 1753 г. Отыгрывая перед зрителем роль образцового любовника, Казанова так старался, что у него даже пошла кровь. Весь эпизод с К. К., М. М. и де Бернисом Казанова описывает как театральный спектакль.

¹³⁴ Перевод И. Стаф.

¹³⁵ Лаура – служанка в монастыре, через нее Казанова переписывался с К. К.

¹³⁶ День Королей – 6 января.

меня тоже, ибо счел, что усилия мои превосходили возможности слабого пола. Быть может, и так; но пока я рада, что превозмогла себя и так удачно испробовала свои силы. Люблю тебя до обожания; целую воздух, представляя себе, что ты здесь; и мне не терпится поцеловать твой портрет. Надеюсь, что и мой портрет будет для тебя столь же дорог. Кажется мне, мы рождены друг для друга; когда я думаю, что поставила препятствие нашему союзу, я проклиная себя. Вот ключ от моего секретера. Сходи туда и возьми то, на чем увидишь надпись *Моему ангелу*. Друг мой пожелал, чтобы я сделала тебе маленький подарок в обмен на тот ночной чепчик, что ты мне дал. Прощай».

В письме я нашел маленький ключик; он был от ларца, что стоял в будуаре. Мне не терпелось посмотреть, что же такое она подарила мне по велению друга; я иду, открываю сундучок и распечатываю пакет. Там лежит письмо и чехол из шагреновой кожи. Вот что было написано в письме:

«Подарок сей будет дорог твоему сердцу, мой нежный друг, по причине моего портрета: наш друг, у которого их два, лишился его с радостью при мысли, что обладателем его станешь ты. В футляре ты найдешь двойной мой портрет. Тут есть два разных секрета: если ты сдвинешь дно табакерки в длину, то увидишь меня в обличье монахини, а если нажмешь на угол, то увидишь, как откроется крышка на шарнире и я явлюсь такой, какой ты меня сделал. Нельзя и представить, дорогой друг, чтобы когда-нибудь женщина любила тебя так, как я люблю. Друг наш одобряет мою страсть. Не могу и решить, с кем посчастливилось мне более – с другом или с возлюбленным; мне невозможно вообразить ничего выше и того, и другого».

В чехле обнаружил я золотую табакерку; несколько крошек испанского табаку говорили о том, что ею пользовались. В согласии с предписанием я сдвинул дно и открыл изображение ее в три четверти, в полный рост и в монашеском облачении. Я поднял второе дно – и она явилась мне нагою, возлежащей на подушке черного шелка в той же позе, что Магдалина у Корреджо¹³⁷. Она глядела на амура с колчаном у ног, что восседал на ее монашеских одеждах. Я не думал, что удостоюсь подобного подарка, и написал ей письмо, изъявив чувство самой истинной и величайшей благодарности. В том же сундучке лежали передо мною по разным отделениям все ее бриллианты и четыре кошелька, полные цехинов. В восхищении перед ее благородством закрыл я ларец и возвратился в Венецию счастливый – когда бы еще сумел и смог избавиться от власти фортуны и отстать от карточной игры.

Оправщик сделал мне медальон с Благовещеньем, лучше которого нельзя было и пожелать. Устроен он был так, чтобы носить его на шее. Колечко, через которое надобно было продеть ленту, дабы повесить медальон на шею, имело секрет: если сильно потянуть за него, Благовещенье отщелкивалось, и открывалось мое лицо. Я прикрепил его к золотой цепи испанского плетения в шесть локтей длиною, и через это подарок мой стал весьма благороден. Я положил его в карман, и в день Богоявления вечером отправился к подножью прекрасной статуи, каковую воздвигла благодарная Республика герою Коллеони – предварительно одного отравив, если верить секретным документам¹³⁸. *Sitdivus, modonon vivus*¹³⁹ есть суждение просвещенного монарха, и куда будут на свете монархи, будет жить и оно.

Ровно в два часа¹⁴⁰ из гондолы вышла М. М. в светском платье и плотной маске¹⁴¹. Мы отправились в оперу на остров Св. Самуила и к концу второго балета пошли в *ridotto*, игор-

¹³⁷ Магдалина у Корреджо – эту картину Казанова видел в Дрезденской галерее за год до того. Но авторство Корреджо нынче оспаривается.

¹³⁸ Памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони был создан в 1479–1488 гг. Андреа Веррокьо. О конце Коллеони достоверных сведений нет.

¹³⁹ Пусть будет Бог, лишь бы не живой (*лат.*) (слова римского императора Каракаллы после убийства его брата Геты).

¹⁴⁰ В 18 ч 45 мин. В Италии до конца XVIII в. часы отсчитывали от захода солнца.

¹⁴¹ В Венеции полагалось носить маску во второй половине дня с 5 октября по 16 декабря, с 26 декабря до Масленицы

ный дом; там она с величайшим удовольствием разглядывала патрицианок, которым титул доставлял привилегию сидеть без маски. Прогулявшись с полчаса, отправились мы в комнату, где находились главные банкометы. Она остановилась перед банком синьора Момоло Мочениго – в те времена он был самым красивым из всех молодых игроков-патрициев. Игры у него тогда не было, и он беспечно восседал перед двумя тысячами цехинов, склонившись к уху дамы в маске, сидевшей возле него. То была г-жа Марина Пизани, чей он был поклонник и кавалер.

М. М. спросила, хочу ли я играть, я отвечал, что не хочу, и она объявила, что берет меня в долю; не дожидаясь ответа, вытаскивает она кошелек и ставит на карту сверток монет. Банкомет одними кистями рук мешает карты, сдает, М. М. выигрывает и удваивает ставку. Синьор платит, а после, распечатав новую колоду, принимается шептать что-то на ухо своей соседке с видом полного безразличия к четырестам цехинам, что М. М.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.